


Андрей БИТОВ • текст как текст •

Андрей БИТОВ



ТЕКСТ КАК ТЕКСТ

• серия «небольшая книга» •

**ArsisBooks** 

Москва  
2010

ББК 84(2Рос=Рус)

УДК 821.161.1

Б66

**Андрей Битов.**

**Текст как текст.**

Сборник эссе — М.: ArsisBooks, 2010. — 212 с.

ISBN 978-5-904155-16-2

После выхода в нашем издательстве книги Андрея Битова «Битва» («неаристотелевой поэтики» по определению автора) в серии «Небольшая книга» мы предлагаем нашему читателю сборник эссе «Текст как текст», который можно считать ее продолжением.

Книга «Текст как текст» о том, как борьба слов и букв воплощается в судьбы и имена, что, по мнению автора, стало неизбежным в русской литературе...

Руставели, Чехов, Набоков, Олег Волков, Мандельштам, Пушкин, Андрей Платонов, Юз Алешковский - таков список главных героев книги.

Как всегда, у Битова неожиданный, парадоксальный ход мысли, который соединяет несоединимое.

ББК 84(2Рос=Рус)

УДК 821.161.1

Б66

© Битов А.Г., 2010

© Издание ArsisBooks, 2010

© Дизайн-макет ООО «РА Арсис-Дизайн», 2010

ISBN 978-5-904155-16-2

**Андрей Битов**

**ТЕКСТ КАК ТЕКСТ**





## СОДЕРЖАНИЕ

I.	Родина, или Могила .....	7
II.	Памятник литературы как жанр.....	30
III.	Текст как поведение.....	62
IV.	Поведение как текст.....	77
V.	Поведение как поведение.....	104
VI.	Смерть как текст.....	121
VII.	Больше, чем текст.....	163
VIII.	Память как черновик.....	182
IX.	Памятник последнему тексту.....	195
X.	Буква и судьба.....	205



# I.

## *Родина, или могила*

### I. РОДИНА ПОЭТА

Пограничник поднял шлагбаум, и мы переехали из Грузии в Грузию. Стало так тихо, что мы остановились. Та же Кура плыла слева. Она была не та же, как и мы. Она была — выше. Нам еще предстояло привыкнуть к себе. С некоторой глухотой, разминая ноги... Заграница — это где живут другие люди, не мы. Здесь других не было, но как бы и нас — не было. Никого не было. И небо и зелень стали другого цвета, хотя не могли они быть другого. Другого света они стали. Такой остановленный свет бывает только осенью, когда пробуксовывают мгновения и вдруг чувствуешь, оказавшись впервые, что уже бывал в таком времени и пространстве, именно в этом, в котором ни разу до того не был. Не был, но бывал. Ощущение того света.

До осени было далеко посреди июля. Тот свет был ближе.

.....\*

Мы были так же посторонни, как белая нить истребителя в небе. Другая планета. Пришельцы. Скитальцы. Не странно ли, что «скит» и «скиталец» — однокоренные слова?

\*Здесь и далее сокращения согласованы с автором.

Как, однако, там? Не те же ли там проблемы? Перенаселение, Мальтус, экология? Если, по Данту, в чистилище еще надо попасть, и даже ад — для души еще своего рода карьера, и толпа топчется у Стикса, не допущенная ни туда, ни сюда (все люди, не исполнившие своего назначения...), то какова же толпа эта на наш четырехмиллиардный мир? Избранным не пройти к перевозу... Гениально прозрел современный бард: «И огромный этап, тысяч пять, на коленях сидел...»

...У одной парикмахерши на днях умерла мать. Она очень плакала по маме. И снится ей мама. «Только не плачь, прошу, — говорит мама, — мне и так очень тяжело». «Как — тяжело?» — естественно интересуется дочь. — «Здесь очень сурово». — «Как сурово? — интересуется дочь. — Может, тебе чего туда послать?» — имея в виду теплые вещи и продукты. — «Ничего не надо. Здесь все есть, все справедливо. Только очень сурово».

Беседа воспроизведена дословно. Что поймет современный человек под словом «сурово» здесь и что поймет он — там? Не нравственная ли норма человека сурова человеку современному?

Как, однако, там?

А вот так. Отчасти вот так, как здесь, где за границей Грузии оказалась Грузия же, где та же река и те же горы потеряли имена как принадлежность нам. Нам здесь принадлежал лишь арбуз, привезенный с собою, — мы его остужали в реке и упустили. Теперь и он не наш, уплывал от нас, домой — он от нас сбежал. Нам принадлежал укус слепня, слепо обозначившего, что что-то, не знаем что, или кого-то, не знаем кого, мы на том свете, ставшем для нас этим, раздражали.

Мы ехали дальше, но это уже мало что меняло. Мир за границей, однажды нами пересеченной, был ровен и светел, одно-



роден, односоставен. Менялись очертания скал, породы рош, цветы полян, и — ничего не менялось. Словно один и тот же мир поворачивали с разных сторон перед нашими глазами, а не мы на машине ввинчивались в новый серпантин. Воля наша была условна. Отнюдь не сами меняли мы окружающее пространство. Оно подсовывалось, отодвигалось, поворачивалось к нам и от нас — мы стояли. Не было ни воли, ни произвола. Здесь было сурово.

Не так сурово, а так сурово. Здесь почему-то вставал вопрос, снятый человеческим общежитием, где ты всегда — по отношению к другим, вопрос: кто ты такой? Кто ты такой, что сюда пришел?

Куда — сюда? Здесь было как там. Мы въезжали, под нас подкатывало, мы приближались, на нас надвигалось... И вот мы обнаружили, что стоим и дальше, по-видимому, не едем. Что это?

Родина Руставели.

Не стану утверждать, что я повторял знакомые мне с детства строки. Есть особая убедительность в имени поэта, и не читанного тобою. Ухо услышит звук, соответствующий чьему-то имени, сто раз, и в нем не будет имени. Но стоит раз произнести его человеку знающему, что оно значит, знающему на высоте собственной любви, как вы и услышите и поверите. Слово «Руставели» слетает с уст грузина именно таким убедительным образом. Вы уже не сомневаетесь. Вам не обязательно проверять.

Так вот где он жил!.. То ли он жил в раю, то ли вы в аду, то ли место таково, что могло послужить столь высокому рождению, то ли поэт таков, что возвысил его до своего зрения, и природа потом вынуждена была соответствовать уровню своего запечатления — стала такой? Нет, однако, сомнения, в силу по-

граничных или каких других обстоятельств, что природа здесь осталась в том состоянии, в каком была при нем. Его — нет. Он давно ушел в мир еще более тот, чем этот. Мир замер, провожая его взглядом, да так и остался на месте, на этом месте.

«Мир — лишь миг», — сказал друг, возможно, цитируя. Миг этот проскочил между Руставели и нами — мы стояли с ним в одном мире. Миг этот — простирался. «Он лишь взмах ресниц мгновенный...». Мы стояли, боясь сморгнуть.

Соринкой в глазу застряла турбаза, остальное было так же, лишь на его взмах ресниц позже. И отворотясь от турбазы, видели мы.

И не сразу скажешь, в чем тут дело. Красивое, конечно, место. Но — не в этом.

Несколькими гигантскими отвесами, очень музыкально восставшими в пространстве, противоположный берег уходит в небо, подавляя окрестность. Он — желт. А сейчас, в лучах закатных, — золотист и розов. В нем чернеют дырки, отсюда почти точки. Так и у нас на речках бывает обрывистый берег испещрен гнездами ласточек, они стремительно ныряют в них, с криком вылетают, чудом не сталкиваясь, стригут пространство на многие треугольники. Это — жизнь.

Здесь нет ласточек. Если бы они были, то это были бы уже орлы, орлы бы показались отсюда меньше ласточек. Масштаб — вот что гипнотизировало. Вы не знали, какое это, — то, что у вас перед глазами. То есть масштаба не было.

И оно молчало. И вы молчали. Молчали не от потрясения, восхищения или еще какого-либо подобного словесного чувства, которое потом словами или возгласами разряжается, не оттого молчали, что как бы на время утратили дар речи, потрясенные. Молчали оттого, что слов здесь и не было. Или их здесь однажды не стало...

Когда-то здесь был монастырь. То есть эти дырки — входы в пещеры, в кельи. Это вам объяснят, когда наутро, после зарядки и манной каши, поведут через реку на экскурсию. Он был основоположен, и он быстро рос, превращаясь в пещерный город невиданного в истории размера. Храмы и хозяйственные службы, кельи обширные и с удобствами, и схимнические, недоступные, все выше и выше, лестницы и переходы, выдолбленные в скале и висячие, террасы, галереи и мосты... Духовный оплот и сердце Грузии в упоительное для Грузии время, связанное с именами Тамар и Шота.

Но и века не прошло. «Мир — лишь взмах ресниц мгновенный». Землетрясение, подобной силы не отмеченное ни до, ни после, до наших дней, обрушило скалу в ущелье, и с ней — город. Таким образом, то, что мы видим теперь, есть так называемый в черчении вертикальный срез — трагическая наглядность! «Далее посмотрите на эту фреску, — убеждал романтический экскурсовод в джинсах, особенно подчеркивающих узость бедер, в белой свободной рубашке, особенно подчеркивающей ширину плеч, с открытым воротом, особенно открывающим сильную шею и нательный крест, так и не поглядывая на девушку, особенно внимательную и выдвинувшуюся вперед, но тоже на него не поглядывающую... — На этой фреске вы видите уши животного, — говорил экскурсовод, вообще-то охотник, воин, только сейчас, временно, экскурсовод, — животное это, по ушам, конь. Но художник не стал бы рисовать одни уши коня, ясно, что он рисовал всадника на коне. А это значит, что остальная часть фрески упала в ущелье...».

Вопрос «за что?», который, хотя бы однажды, задает себе в истории каждый народ, звучит в этом ущелье. Это то самое «за что?», которое звучит в устах и у русских, когда они пытаются понять свой сегодняшний день в непрерывной связи с днем

рождения, когда одни вспоминают Новгородскую республику, другие татар, третьи Петра... Все они, предварительно перессорившись в точке отсчета, забывают в споре, что исходят из общего для всех недоумения. «Художник не стал бы рисовать одни уши...», — снова услышал я от экскурсовода, не менее сурового и романтического, ведущего следующую группу.

Был ли то знак свыше? А как еще его было тогда понять, когда недоступная нашему разуму вера лепила эти гнезда, создавая духовную крепость нации? Катастрофа и есть катастрофа. Что погибло — погибло, а остальные ушли. Надо думать, то было и так неболтливое время: в молчаливом краю, монахи, пещеры, — отделенность от мира, трижды желающая отделиться: в самостоятельности, в недостигаемости и в молитве. Мечом, не иначе как карающим, гладко, как бритвой, был обрублен этот мир. Молчание, куда более глубокое, чем без человека, молчание после катастрофы, воцарилось здесь. Его-то мы и видим, а не пейзаж. Оно и в нас молчит. Не описать его. Молчание не расскажешь, как музыку не нарисуешь, а рисунок не напишешь, сколько бы ни упражнялись искусствоведы, поощрял подобные переходы и взаимообогащения... И я не стану.

Только молчание родит поэта. И хотя биография Шота столь неведома, что дает возможности самых необоснованных заключений... как убедительно именно это место и эта трагедия для рождения в одном из родившихся здесь людей поэта Руставели. Про границу трудно понять, что она от чего ограждает: внутренний мир от внешнего или внешний от внутреннего. Вопрос, с какой мы сами стороны... Но — обрыв. Крепость, которую мы отстаиваем, — родина. Крепость, в которую заточены, — тюрьма.

«Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль свою укрою?  
Жизнь мне бремя. Но судьбою принужден я длить свой час.  
Жизни нет, а жизнь все длится.  
Смерть прийти ко мне боится».

Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ!

Вы смотрите вдаль, через реку, на эту мощь скалы, на эти человечьи соты... Как черви, с необсуждаемым трудолюбием и упорством, без механизмов и взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью, нарыли их люди. Как черви — но и как птицы! Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками — первое, что приходит здесь в голову. И черви, и птицы. Люди. Вы молчите. Смотрите. Не видите и не слышите. Не можете оторваться. Не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и — время. Тут остановилось время. Оно — то же, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. То же, когда отсюда ушли последние. То же время, в какое заговорил из этой каменной невыразимости немоты Руставели.

Мир прискорбный. Рок бессонный.  
Что ты крутишься, взметенный?  
Чем ты вечно огорченный?  
Кто уверует в тебя  
Так, как я...

Все в биографии Руставели лишь предполагается, и утверждается в этих предположениях всегда автор гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руставели, кроме самого Руставели. Музей Руставели — под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме его строк. Но ничего не нарушает их здесь звучания.

Все ж нас видит Бог, любя.



## 2. ДОМ ПОЭТА

У меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть сомнения нет, но — не верю. Кончилась война, мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут верить — что я лечу на самолете? что кончилась война? она была всегда, до нее ничего у меня не было... что мне было когда-то девять лет? что сегодня я могу вспоминать события тридцати-сорокалетней давности? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои девять лет никаким фактом ни осмысления, ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть... Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на нашу квартиру — ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристрочке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про Петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка — про своего брата, но не Антон Палыча, а другого... Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.

(Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. В задаче спрашивается, какое сегодня число и что мы за это время написали?)

Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбеги, и в доме Пшавелы, и еще как-то в Гори... Запомнил в каждом — железную кровать и узкогорлый позеленевший кувшин в углу.

Уже тридцатилетним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу.

Меня — водили. В домик Чехова попал с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей («Дама с собачкой» была уже снята, а замечательная «Дуэль» еще нет...). Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке, рядом с чеховской кроватью, лежала французская книжка по пасьянсам, на отрывном календаре навсегда осталась дата — 27 мая... Я ничего не узнавал из того, что уже видел. «Уже старушки нет...» Директор сетовал на миллион посетителей в год, на план и хозрасчет, и мы разделяли: деревянные лестницы, рассчитанные на поступь немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопоп.

Я много посетил с мамой домиков — я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе: то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, все тому же себе. Нелегкое это — посещать... Ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже.

.....

.....

Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг не отмечается одна — бесспорная: природоохранная. Сколько

истории, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем... Но и — сколько пейзажей! Не охраненные их священным именем, рассосались бы и эти: вырубил бы рошу, растащили усадьбу, будь она просто так. Ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священно; оно освящено, впрочем, нашим правом собственности НА поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея... тросточка в углу, дуб на берегу, единственно столетний на всю округу... «Вновь я посетил...», «Я помню чудное мгновенье...» и «Нет, весь я не умру...». В наш век природа — такое же камерное, культурное пространство, как и стихи о ней.

И если вдруг, проезжая по российскому шоссе, на смену бесконечным выродившимся, беспородным рошицам и порубкам, сплывающимся в общую просеку, на смену вываливающимся прямо на «проезжую часть» обветшавшим избам и заборам вдруг изящно изогнется дорога, входя в широкогрудый, чистый лес, и даже рельеф облагородится, откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой (ибо и дикая природа, без вмешательства, приходит к своей культуре...), даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и не вырубленный впоследствии парк или сад, прежде, чем мелькнет чистая церквушка с необломанным или непогнутым крестом, прежде, чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок... — можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта, покопайтесь в своей эрудиции — какого... Поэт — последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело.

Может, не надо туда ездить на автомобиле?..

Нам предстояло путешествие — мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и захватить куда захотим. Свернуть. Но — куда? Скажем, в Гори. Или еще раньше — в Сагурамо. В Гори или в Сагурамо? Не хотел я в музей — куда милее мне был в тот момент простор. И в Гори я был... Когда? Неужто тридцать лет назад!.. Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж в Сагурамо. Там я хотя бы не знал что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятным облегчением, которое рождает поворот: ехать совсем не туда, куда собрался...

Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно: всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз! Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим, заслоняет взор: там в тундре прыгает кенгуру, и петербургский дождик идет на Монмартре... Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на том подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим, шатким его лесенкам, светлая память не запомненной мною Марии Павловны печально витала над цементной гробницей, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховский и не совсем чеховский — лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все еще живая Вера Владимировна (вдова Зоценко) пропускала меня по той крутой лесенке наверх: «Осторожнее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михалыч написал. Чтобы гости не стучались...» «Береги лоб» — тщательно на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле, невольно склонился я, входя... Так, рас-

сказывают, устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах!

Это был самый живой писательский музей из всех мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий ее щебет, несмышленому мне пояснявший... Я сел за его стол. «Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали. — И она вставила колобашечку между окладом и рамой, распахнув окно. — Очень удобно». За окном был нехитрый садик, где дрова поддерживали заборчик; с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви вросшей в него бузины... Я, робея и наглея, поднял со стола очки, сложившие лапки, как кузнечик, две пыльных ватки были прилажены для переносицы... Их тоже «сделал» сам Михаил Михалыч, как мне пояснили; очки — натирали! Но натирали они живую переносицу! Ватка касалась! Касалась носа!.. Нет, я не мог больше... Продолжатель Гоголя и наследник Чехова!.. Я крутил в руках бумажку, этакий бланк на пол-листа, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением... ему (Михайлу Михайловичу...) присвоена? присуждена? установлена (вот!) персональная пенсия размером в наши сто двадцать рублей. «Вы не представляете, как он обрадовался! — поясняла Вера Владимировна. — Теперь я хоть уверен, сказал он, что ты не умрешь с голоду. Тебе положена после меня половина...» Она его уговаривала не ехать (он плохо себя чувствовал): успеешь еще оформить-то, дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием — не мог есть... (Разве? как Гоголь? что вы гово-



рите! я не знала...) он сказал: «Ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это...» И поехал, как я ни уговаривала, вернулся совсем плохой... То есть он ее не успел получить, первую свою пенсию, — тень Акакия Акакиевича накрыла полой своей шубы великого сатирика... А старушка так же звонко (у нее поразительно отсутствовала в речи пауза) рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта, еще в шинели, и носил башлык, а они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит: «Смотри, какой башлык!» Мы так «башлыком» его и звали: потом он однажды к нам подошел. Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской (она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить! ответила!..), чем тем, что стала женой великого писателя...

Так вот же ведь, вот! Она не за писателя и выходила, а за красивого двадцатилетнего офицера, бледного, отравленного немецкими газами, в башлыке, с Георгиевским крестом и темляком на сабле!.. Серебряный ее голосок витал и витал, и была она все еще той самой, в которую он и влюбился, и не видел я более трепетной и живой памяти о великом писателе, чем такая!.. Влюбленный в ее колокольчик, расшаркиваясь и не находя внятных слов, покидал я этот никогда не открытый музей, живой ее жизнью настолько, что и Михаил Михалыч оставался жив: вышел в садик или на терраску, пока мы болтали, не утомляя его... И, спускаясь по той же лесенке, расшибал я таки лоб, искры сыпались, и смех ее рассыпался: что ж это вы, ведь сам Михаил Михалыч предупреждал меня об этом... Растроганный, покидал я, бредя вдоль глухого зеленого забора соседней ведомственной дачи, за которым не знаю кто бы еще мог жить. И вдоль того же забора, так долго отгораживающего взор от див-

ных парковых берез, где всюду знак «остановка запрещена», а японцы, не понимая, просят остановиться, им хочется фотографировать березы, им хочется в рашн лес, они не хотят в музей, а мы им ласково, более, чем они, по-японски, улыбаемся и провозим все мимо и мимо, успокаивая, как малых детей, что уже скоро и сейчас приедем... И впрямь, меж двух сузившихся заборов, как скот в загон, втягивается наш делегационный кортеж, и попадаем мы опять куда я никак не ждал — великий открывается простор и взор и вздох в этой прославленной усадьбе, где природа уже исполнена человеком в той же мере, как музыка, в том же, впрочем, камзольном веке. Нет, усадьба принадлежала не поэту, а вельможе, но поэты здесь бывали, и одна из их возлюбленных погребена вот под этим памятником...

В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфель моего прапрапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал... Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может... Только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь, в нашем дворце, было предостаточно и которые они (с каким чувством...) трогали своим японским пальцем... с чего это я взял, что способен?

потому ли, что собрался к ним и, по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, и сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они... с чего это я взял, что именно я — настоящий русский, когда особенно возмущился живому хихиканью за спиной, а обернувшись, застал своего кинорежиссера (не менее меня русского, из северной деревни родом...), в ту же Японию со мною намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшегося никак не по менее святой причине... я застал их, японца и русского, любознательно удовлетворявших свои филологические потребности в радостной попытке нахождения общего языка: они тыкали в мраморные частицы тела амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски; они повторяли эти столь непохожие по звучанию на родные слова и смеялись с истинно детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т. п. Я тогда чудовишно возмущился, сейчас думаю: славные ребята, по существу.. лучше, чем воевать... славные ребята!..

.....

.....

Нет, никогда я не поеду в Михайловское! Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот, и прялку Арины Родионовны — не хочу. Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения... Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем мы, мчимся. «Инспектор!» — предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со ста двадцати до шестидесяти прямо под носом засевшего в кустах гаишника, и успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную своей внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же

так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах? от чудовишной той его осени?.. И гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая, как финиш, противоположную границу, прочитав слово «Болдино» в зеркале заднего вида... Нет, не мог я здесь остановиться! И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетающий, улетающий от меня пейзаж. Какие проплывали, те же самые, что и над ним, облака! Знал бы я, что другое Болдино это было, другой области, однофамильное село... И пронесся я, минуя, как однофамилец самому себе. Так и гримируюсь под Гамлета, а пора бы уже репетировать Лира. И только мы миновали пост ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали, в Сагурамо мы и оказались. Представления невиданного тут же распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты — не предполагал. Экскурсий никаких не было, мы были первые и одни; не было и никакой преувеличенной надстройки над святыней; не осталось ни сестры, ни вдовы... Все здесь было вполне нормально, недоразвалившись и непереобновившись, в той норме, когда можно бы и продолжать жить, как жили... Для нас одних выбежали навстречу дворняги, неожиданно, для такой удаленности, породистые; от нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь; для нас одних оторвали от свежей непочатой тетрадки входные билеты... Билетерша же, конечно, была не одна: несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они были? сотрудницы, родственницы, а может, и то и другое... Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на лице каждого, кому гадают, и

еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши... И мы прошли.

Там было тихо, чисто, по-крестьянски был как-то не то намыт, не то неровен пол, плетеные же, деревенские, лоскутные половички... Уютно было, будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал и отлучился, буквально перед нашим приходом, и, как всегда, мне здесь, приедем, неясно: хозяин? он что, сейчас будет или через неделю? — другая жизнь у времени здесь... Память о великом человеке не прервала тут жизни здесь живущих. И вот еще от чего мне стало хорошо: трепета у меня не было перед великим Ильей; у друга, наверно, был, а я был не обязан. То есть я относился к нему и с искренним, и с подобающим почтением, но и только. Не стояла для меня за ним судьба моего народа. И слава богу. Отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху некой тенистостью в принципе, не только под деревом она бывает... Да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья — человек хороший, мне было очевидно ясно и без страстных пояснений моего друга. Быт человека не врет.

Поднявшись на бельэтаж, на лестничной площадке, в большой витрине, осмотрели мы личные вещи; трость, саквояж, белый жилет — на солидного, как в прошлом говорили, статного, человека... будто он все-таки вернулся, нас догнал, а сейчас поспешил переодеться... а нас пока пропустили прямо к нему в кабинет, поспешно спрятав за спину малиновый бархатный барьерчик... Так и выглядела настигшая нас экскурсоводша, с которой любезно объяснялся мой друг, а я не понимал... так она выглядела, как дальняя, возможно, и бедная родственница, помогающая здесь по хозяйству... Илья ей нас пока поручил... Она спрятала за своей спиной эту малиновую анаконду с крючком на конце, и мы прошли в его кабинет, таким он и представ-



лялся — и мужской и интеллигентный: почитали корешки на книжной полке — не так и много, но все по делу, осмотрели не замученный непосильной работой письменный стол и вполне хорошо вытертый ковер и мутаки на узеньком диванчике для внезапной дремы... Вышли на балкон: прекрасный парк спадал некруто вниз, деревья стояли просторно, так, что особенно трепетали меж стволов, по сухой приземистой травке, солнечные пятна; пятна эти вольно разгуливали по парку, предоставляя то тень, то свет так, что ни свет нигде не палил, ни тень нигде не сгущалась... И деревья все были такие породистые, как и выбежавшие нам навстречу при входе собаки. «Вот здесь, — мечтательно и ласково пояснял мне друг, — обычно ставили стол...» И взгляд его ушел за деревья, будто кого-то там вдали проводя... Или, может, кто-то уже приближается, кого мы ждем?... «Вот так... — говорил он с мягкой расстановкой, с круглым жестом. — Прямо здесь, где мы стоим, однажды Илья и Акакий и не заметили, беседуя о судьбах, что съели всего поросенка...» И снова его взгляд пошел кого-то там, вдалеке, встретить.

А потом мы и сами съели то, что у нас с собой было там, под балконом, в тенисто-золотистом парке; поели, запили водой из источника; поиграли с Леванчиком, сыном друга, в бадминтон; никто не проиграл никому... только солнце вдруг стало торопиться к закату, и Илья так и не вернулся. Что с ним могло случиться?..

### 3. МОГИЛА ПОЭТА

«За что?» — вот вопрос. За что — Илью? за что — Галактиона? Александра Сергеевича — за что??

«Александра Сергеевича жальче», — сказал некий крестьянин про смерть Льва Толстого.

За что — они нам? За что — мы их? Им — за что???

Где правильное похоронить поэта: где он родился? где он писал? где он погиб?

А где он, например, писал? Когда было ему?.. Ему было некогда и негде.

Это теперь мы возводим им дома, в которых они жили. Храмы. И молимся на них. В киотах — фотографии, первоиздания, черновики... портреты отцов и детей, возлюбленных... чернильницы, стулья, зонты... печатки, перчатки, пистолеты... фрак, сюртук... Архалук!

Сюртук мальчика с модной вытачкой. Тоньше пальчика в фалде дырочка. В эту дырочку мы глядим на свет: нам на выручку кто идет иль нет? Жил один Сверчок... Господи, прости! Наступил молчок на Всея Руси.

Вещи — доказательство того, что поэт был. Будто мы не верим, будто себя убеждаем. Лишь экспонаты — неоспоримы. Будто нам мало текстов... Нужна еще биография. Приятно то, что точно знаешь; приятно то, что всем известно...

...Родился на Украине. Жил в Петербурге и Италии. Не был женат. Путешествовал в Иерусалим. Получил письмо от Белинского. Просил не хоронить. Перехоронен.

...Родился в Таганроге. По образованию врач. Жил в Москве, в Мелихово, в Ялте. Путешествовал на Сахалин. Умер в Германии. Похоронен на Новодевичьем...

Кто такие?.. Хором. Пушкин! Правильно, дети, Горький.

Заполним разом все клеточки в кроссворде: родился в 1796—1828 гг. в небогатой помещицкой семье старинного рода, умер в 1829—1910 гг., прожив 26—82 года. Знал от двух до шести языков. Рисовал. Писал вальсы. Служил в министерстве иностранных дел. Воевал. Был разжалован в солдаты, сослан на Кавказ, в Сибирь и родовое имение. Путешествовал, не был

выпущен за границу, прожил 10, 20, 30 лет в Италии, Франции и Англии, где и умер. Погиб на дуэли, был убит, простудился, погиб... Прах его покоится на родине, перенесен из чужеземья, могила утрачена. Написал «Горе от ума», «Медного всадника», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Войну и мир», «Идиота» и некоторые другие произведения. Сто томов писем.

С признанием при жизни у русских писателей обстояло не так плохо, как, скажем, в Америке. У нас не открывали через сто лет Стендаля, По, Потоцкого или Мелвилла. И читатели, и власти более или менее сразу знали, с кем имеют дело. С биографиями похуже, но все-таки лучше, чем в следующем веке. Что поэты сохранили, так это исключительный патриотизм.

Да, биография налицо. Но где же тогда дом, который мы только что посетили? Когда же поэт в нем жил? Он в нем или родился, или умер. Приезжал в гости. Один Лев Толстой... да и тот, в конце концов, не выдержал и умер в дороге.

Скоро кончится тревога. Верный путник хвалит Бога.  
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Нет никакого дома — одна дорога. Путь. И если начало пути, место рождения, имело меньше всего шансов сохраниться для благородных потомков, потому что новорожденный гений — такой же младенец, как все, не различишь (как поражает доска на одной из московских «высоток»: здесь родился Лермонтов!), то место смерти и могила должны быть куда более отчетливы у человека, столь свершившего... Казалось бы.

«Эти люди обо мне не вспомнят...», «Эти люди вспомнят обо мне...», — между фразами как раз и пролегает поколение, которое все забудет.

И скитания их не прекращаются за гробом.

Как могло так случиться, что пошел дождь, жена слегла, за гробом шли всего четыре человека (один из них Сальери), а до кладбища дошел один, могила была не готова, захоронили в общей, для бедных, а когда вдова пришла через день, смотритель не мог ей указать могилу? И это был человек, с раннего детства известный царствующим особам главных дворов Европы!.. Не говоря, что — гений, какого не носила земля, причем при жизни признанный гением. «И Моцарт в птичьей гаме...» — там, в листе, его могила.

И сколько бы ни ссылались на интриги третьего отделения, опасавшегося народных волнений, никак до конца не понять, зачем же все-таки с такой таинственностью, ночью, в сопровождении жандармов, гнать сани с гробом поэта в Михайловское? Могила, правда, на этот раз известна. Зато с местом дуэли, при жизни ее прямых свидетелей и участников, происходят таинственные смещения... даже слева или справа от дороги — через двадцать лет они не могли установить. Так что, стоя у обелиска на месте дуэли, возможно, вы совсем не в том месте, где пролилась его кровь.

А беспокойный прах Гоголя?.. Он ведь так просил, предупредал. Чего стоило его завещание в глазах людей, не сомневавшихся, что хоронят гения? Сочли бредом.

И уходит путь-дорога. Хоть людей на свете много,  
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Праха поэта беспокоят через сотни лет, находя ему более почетные или более символические места для захоронения. Кости ли не могут успокоиться, мы ли не можем? Прах Колумба и после смерти дважды пересекает океан, так и носится по волнам четыре сотни лет, Чаплина крадут...

Хлебников, вечный паломник, брел по степи со своим другом, и тот начал помирать. Хлебников не остановился помочь: «Степь отпоет...» — сказал он умирающему. И его самого отпела степь. Как отпела она, ледяная, и Цветаеву, и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани. Нет, тут не одна лишь наша неблагодарность! Тут что-то еще, не поймем что...

Великие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти... Кто они такие? Откуда взялись и куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод?..

Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в ночь, как в молчание. Ничего там было уже не различить, но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке — присутствовало. За спиной разгорались танцы. И музыка, и свет турбазы, бившие мне в спину, туда не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда.

«Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся, — так и тело ждет конца».

Руставели ушел в Иерусалим. Все они уходили в свой Иерусалим. И не возвращались. И когда я вглядывался в ночное молчание Вардзии, этого памятника людям-птицам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой сверхмогилой истории и родины, то чем больше я верил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не в то, что ее нет или что ее так и не нашли... А в само то, что он там, под камнем, есть. Его могила была здесь. Родина — его могила. Он — ее звезда.

Жизнь лишь беглое мгновенье.

К миру только отвращенье.

Мне с землей соединенье.

В ночь ведет меня тоска.

Поэты — одни и те же люди. Столетия спустя не знавший  
Руставели русский поэт повторит:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,  
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем,  
И в ночь идет, и плачет, уходя.

## II.

### *Памятник литературы как жанр*

*Да и жить-то осталось  
Каких-нибудь две пятилетки...  
В. Инбер*

*Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе?  
Б. Пастернак*

#### 1. ПОВТОРЕНИЕ НЕПРОЙДЕННОГО

Саму идею статьи, возникшую вместе с названием, можно попытаться датировать 1970 или 1971 годом, когда родилась беспримерная повесть «Николай Николаевич». Именно, скорее родилась, чем была написана.

Хотя она была написана на отличной мелованной бумаге, отличными чернилами, отличным пером, которое мы в детстве называли «вечной ручкой», чуть ли не неведомо откуда завед-

шимся «паркером». Записывавший, которого в ту пору трудно было назвать автором, скорее хозяином или даже владельцем рукописи, любил, чтобы перо скользило особенно плавно, поэтому всегда бывал особенно щепетилен насчет канцтоваров. Записано было практически без помарок, крупным красивым почерком сталинской начальной школы, почерком, неповрежденным последующим писанием конспектов.

Бумага была толстая, почерк крупный — в рукописном виде рукопись выглядела солидно, в машинописном же, самиздатовском виде — сжалась, скукожилась, поблекла до размеров рассказа в журнальном самотеке.

Имя автора на титульном листе не значилось.

Тому может быть целый ряд объяснений, существенным из которых является одно: за подобное авторство можно было получить срок.

Повесть не предназначалась для печати, однако, изначально не только потому, что и напечатана быть не могла. Она как бы и не для того была написана. Она была написана с восторгом и удовольствием, то есть для себя, для собственного самочувствия и, в некотором смысле, самоутверждения, то есть для двух-трех, прежде всего, друзей, которым труд сей был посвящен.

Так что даже если бы в тот год не был разгромлен «Новый мир», а была провозглашена наша гласность, повесть все равно, а может, и тем более, была не для печати. Потому что была она и не столько против власти, сколько против печати. Это придется впоследствии разъяснить.

Пока что вернемся к описанию рукописи и ее судьбы.

Скорее всего, впервые она была исполнена вслух для тех же двух-трех друзей, поскольку машинопись возникла далеко не сразу, поскольку, как я уже сказал, писалась не для печати, а скорее как письмо.



Письменное происхождение этого текста я могу засвидетельствовать как очевидец и участник: именно из писем друзьям произошел этот текст, вкратце повторяя историю литературы. Ибо жанр писем в течение двух лет предшествовал рождению произведения большого и сюжетного. А до этих писем никому неизвестным автором будущего «Николая Николаевича» владел жанр исключительно устный, дописьменный — жанр песни, шутки, каламбура, застольной импровизации.

В этом жанре автор был любим и знаменит, в масштабах семейного круга и общего стола, какой мог разместиться в масштабах однокомнатной квартиры в Беляеве. Спонтанное это творчество, равное существованию, оплачивалось восторгом, восхищением, любовью тех, кто, между тем, выпускал свои художочные книжки, оплаченные рублем, критикой, членством в Союзе писателей. То есть гений наш не был писателем. Как ни странно, его такое соотношение не вполне устраивало, хотя он и не показывал виду. Однако стал грозиться, что напишет роман.

И вот он его написал, то есть этого самого «Николая Николаевича». О бывшем воре-карманнике, устроившемся донором спермы в некую лабораторию. История его любви органично переплетается с его трудовой карьерой, с историей страны и нашей многострадальной биологической науки. В каком-то смысле это превосходный производственный роман, мечта соцреализма. Впрочем, определить и описать его необычайно трудно: произведение выпадает из литературы, как из прохудившегося мешка.

Очень смешно — вот что можно было сказать с определенностью.

Но для критического описания, которое, как мне показалось, не прочь был услышать автор, такого определения было

явно маловато. В это время у советского избранного читателя был в моде Камю и как раз была опубликована его повесть «Падение». Трудно было бы найти произведение, менее сходное по духу и смыслу, но, однако, оно, единственное, годилось для сравнения. Произведения были, более или менее, равны по объему и приему. Оба написаны от «я» в форме диалога с невидимым и молчаливым собеседником. Но зато как проигрывал прославленный автор анонимному в оптимизме и жизненном напоре! Наш торжествующий надо всем советский быт одерживал очередную моральную победу над заунывно гнивающим Западом. Наш отечественный вариант, в пику ихнему экзистенциализму, следовало бы назвать «Вставание» (профессиональная, кстати сказать, задача для героя повести).

Придя к своему другу похвастаться идеей сравнения его с Камю, я застиг его врасплох. Он был крайне смущен моим приходом, при этом он был в квартире один. Не сразу удалось мне выяснить причину. Он был раздосадован визитом сантехников в связи с засорением канализации. Пришлось демонтировать унитаз, а тот при этом треснул.

Еще более не сразу, а долгое время спустя, выдал мне друг тайную причину засора... Напуганный распространением повести в самиздате (по-прежнему без имени автора), решил он уничтожить саму улику, доказательство его авторства — рукопись повести. Ввиду отсутствия каминов в наших кооперативных квартирах канализация есть единственный путь для секретных документов. Писанный же на чрезвычайно плотной и недостаточно мелко порванной бумаге, манускрипт забил фановую трубу. Благо на первом этаже, автор попытался справиться с аварией сам, но разнервничался, поспешил и лишь усугубил аварию. Пришлось вызывать. Люди, одаренные столь высоким остроумием, отнюдь не всегда любят сами попадать в юмористические

положения. Смех и страх, перемешанные в определенной пропорции, порождают унижение или гнев. Это выражение гневного смущения на лице друга, когда он открывал мне дверь, было ни с чем не сравнимо и очень запомнилось мне.

Время спустя анекдот этот перестает быть столь уж смешным, хотя и относится к одному из самых смешных произведений русской литературы. Анекдот этот становится величественным. Никому еще не удавалось застичь воровато озирающегося автора за сожжением «Мертвых душ» или «Десятой главы», и вряд ли кто присутствовал при рождении не просто произведения, пусть и гениального, пусть которому и суждено в веках, быть может, и стать чем-то большим, чем произведение конкретного автора, — не произведения, а — сразу ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ.

Ибо, что такое, грубо говоря, «памятник литературы» в нашем сознании? Это произведение, пережившее все остальные и утратившее имя автора, а если имя автора и сохранилось, то как бы не человеческое, а мифическое, ибо про человека, носившего это имя, мы уже ничего определенного сообщить не можем. Гомер, Сократ или Шекспир не более люди для нас, чем «Боян бо вещей». На созидание «памятника» уходили века, не столько в смысле отшлифовки в народном сознании конечного варианта эпоса, сколько в смысле утраты имени и биографии автора, а также манускрипта и обстоятельств создания произведения. Вот на это в основном требовались века даже в те времена, когда самому авторству и имени не придавалось столь уж существенного значения, как в новейшую историю, когда имена стали значительно крупнее собственных творений.

Над «памятником литературы», после его автора, работает ВРЕМЯ, неустанно переписывая его, хотя бы и один к одному, как Борхесовский Менар.

Категория времени — самая ненавистная для революции. Что, как не уничтожение самого времени, влечет революционера? Борьба с календарем запечатлевается в первых же декретах. Время человечества выбрасывается на свалку истории ради идеала счастливого будущего, в котором времени уже не будет.

В нашем авторитарном образовании «памятник литературы» напрямую ассоциировался с памятником — такая чугунная или каменная книга, размером с могильную плиту, над которой время поработало больше, чем создатель, и стерло имя. Вещь почитаемая и нечитаемая. Издаваемая для профессоров или ими же и издаваемая, ради собственных комментариев. Пусть они ее и читают, свой «Гильгамеш».

Литература перестала быть частью культуры. Она стала занятием. И культура перестала существовать и как самостоятельное слово: культура могла быть поведения и физическая, а также у нее могли быть Парк или Дом. Культура стала овощ. Или быт.

Работу веков мы производили в одночасье и вручную. Индивидуализм, родивший цивилизацию западного типа, например саму фигуру великого писателя, в XX веке уже отчасти ложную, был нам чужд. Создавались уже не книги, а литературы на десятках языков. Отыскивались основоположники, клепались эпосы. Имя, настаивавшее на себе как на личности, из состояния личности выводилось в расход. Имя могло быть подтверждено лишь созданием эпопеи. Идеал создания монументальной книги мог быть и достаточно циничным (во спасение), и достаточно искренним (для бессмертия), вплоть до «Доктора Живаго» (за искренность и осужденного).

Любопытна и классична история «Тихого Дона» именно в этом, надындивидуальном смысле. Я не собираюсь оспаривать авторство этого литпамятника, более того, охотно его за Шоло-

ховым оставляю. В истории с Шолоховым гораздо значительней и поучительней феномен оспаривания его авторства, чем факт его авторства. Сразу не сходятся две вещи: во-первых, признание и канонизация романа, в классовом отношении весьма сомнительного, в годы, когда смертью карались куда меньшие социальные прегрешения. Роман-то — почти белый, лишь в красную крапинку, чуть ли не позднее почти халтурно окрапленный... во-вторых, драматический перелом, слом личности автора эпопеи, происшедший уже после 37-го, на рубеже 40-х, слом, по свидетельствам, достаточно резкий и внезапный, наглядно выявившийся уже в послевоенные годы, превративший фигуру в советской жизни достаточно могущественную и самостоятельную в нетрезвую функцию официальных установок.

Известный критик и литературовед Л. предложил мне версию перерождения Автора знаменитой эпопеи, чем-то обоснованную, может, и не более обоснованную, чем предположения о других, более подлинных авторах «Тихого Дона», но для меня психологически куда более убедительную. Будто проявленная в каких-то случаях репрессий самостоятельность позиции Шолохова дошла до Сталина и обеспокоила его. Будто Шолохов был вызван для личной беседы. Будто ему было сказано, что может вдруг оказаться и другой подлинный автор «Тихого Дона». Что именно после этого разговора Шолохова стало не узнать. Что ж, не исключено, что угроза потери любимого де-тища еще страшнее высшей меры.

Если это и чистый миф, то важен и миф. Как миф он не менее убедителен, чем пригрозить Крупской, что может быть и другая настоящая вдова. Разговорчики вокруг подлинности авторства тех или иных вершин соцреализма водились и по более мелким поводам: «Как закалялась сталь», «Далеко от Москвы», посмертные песни Джамбула-сказителя, не знавшего

письменности, а потому неспособного оставить письменного наследия, — и прочее клеветничество, — все это для меня проявления определенной установки: обобществление продукта. За надличностный характер автор эпопеи удостоен был официально всенародного признания — тому же и наказанию подвергнут: стиранию имени как усекновению главы. Именно неотъемлемость имени от творчества, то есть личность, то есть индивидуальность, в малом случае осуждалась как пережиток, в крупном — каралась приговором.

Так что революция не только послужила стимулом для взращивания молодых литератур, но и русскую литературу поставила в положение младописьменной.

А потом и саму письменность. Лишившись для начала ятей, фиты да ижицы, сведя разнотравье типографских шрифтов к двум или даже одному, нам уже все равно, на каком языке то же самое читать — на русском или татарском.

И начали варить новую речь на открытом огне при постоянном социальном помешивании.

И родился новый язык, удивительный конгломерат советских и бюрократических клише с языком улицы, обогащенный лагерной феней. Единственно, что оставалось в таком языке родного, это мат.

Письменность уже была объявлена для ста языков, но у языка, на котором говорили все, ее не существовало.

Признание, слава, репутация, известность, место в литературном процессе и место в литературе — всё это вещи качественно разные. Даже такие поэты, как Тютчев и Фет, стали вполне известны лишь после статьи Некрасова «Русские второстепенные поэты», опубликованной в 1850 году, когда Тютчеву было под пятьдесят, а Фету — тридцать. А.К. Толстой был даже не этого ранга, а его совместное с Жемчужниковыми детище,

Козьма Прутков, был, пожалуй, более всех знаменит, но вряд ли считался вообще литературой. Сегодня репутация Тютчева спорит с пушкинской, Фет — великий поэт, более бесспорный, чем Некрасов. А.К. Толстой — великий писатель второго ряда, Алексей Жемчужников — просто поэт третьего ряда, а Козьма Прутков — чистый гений. Как писал его выдающийся последователь, наш современник, Дмитрий Александрович Пригов, в своей «Азбуке» на букву «П»:

Овидий — это первый век,  
Онегин — лишний человек.  
Пушкин — это чистый гений,  
Пригов — это тоже гений.

Любопытно, что форма такой абсурдной азбуки: «Б — Больная Юлия», «Т — Татарин, продающий мыло или халаты», — изобретена «третьим» Жемчужниковым — Александром, литературная судьба которого всегда очень занимала мое воображение.

Именно на этой «Азбуке» стоит виза его брата, Владимира: «Сашенькины глупости», по коей «Азбука» не входит в свод сочинений К. Пруткова. Владимир, единственный из четверки братьев, отнесся ко всему делу всерьез, доводя наследие К. Пруткова до сознания просвещенной публики. Сашенька вообще на отшибе, его почти не упоминают среди авторов — он лишь «поучаствовал». Между тем, с более модернистских и авангардистских позиций, К. Прутков, конечно, куда больше и дальше «сатиры и юмора». Похоже, сами авторы не могли оценить своих более абстрактных заслуг в своем времени; более воспитанные на «пользе обществу», они скорее оправдывают, чем провозглашают Пруткова. Сашенькина же роль, в этой

связи, вполне может быть пересмотрена. Хотелось бы этим заняться, пока что предположим... Может, он из всей блестящей братской команды был самый абстракционист и авангардист. Ибо «поучастование» его каждый раз происходит на уровне зарождения жанра: первая басня, первая пьеса... Будто дальше эксплуатировать однажды абстрактно и всецело обретенную форму ему уже неохота и лень, и он отстраняется перед литературной настырностью братьев. Оттого и другие найденные им формы остались в области «глупостей», что не были проэксплуатированы, пребывали в самих себе с самодостаточностью формы. Будто чувство формы у Сашеньки было из будущего века.

Эта вторая, подпольная, андеграундная линия русской литературы была всегда и всегда даже не на втором, а на десятом плане, как и не литература вовсе. Она и начинается-то задолго до нашей великой литературы, но заслонена и затерта ею. Ее оттесняют и от фольклора («Заветные сказки», бессмысленные присказки). Кириш Данилов, Барков, К. Прутков... Всем им отведена та роль, которую они не только сыграли, но и продолжают играть, не покидая никогда языка ЖИВАГО. Ими все пользуются, обогащаясь, да никто, кроме Александра Сергеевича, не посмел признать эту роль. По-видимому, великой литературе было удобно так. Но это уже ее номенклатурные черты.

Единственное, что можно и нужно сделать, — ИЗДАТЬ все это АКАДЕМИЧЕСКИ, с аппаратом и комментарием, в серии «Литературные памятники». Издать, чтобы успокоиться наконец на всякий запретный и иерархический счет.

Советское время особенно светится этим забортным рядом. Непрерывное живое слово сохраняется только там. У нас в России авангард был всегда.



Обэриуты.

Николай Глазков.

Генрих Сапгир, Игорь Холин, В. Уфлянд.

Дмитрий Александрович Пригов.

Еременко, Кибиров, Рубинштейн...

Я спросил электрика Петрова:

«Ты зачем надел на шею провод?»

Ничего Петров не отвечал,

Только тихо ботами качал.

Тоже народное, но только — Олега Григорьева...

Поэзия этого рода, выходит, выстаивала и не кончалась. Потому что она никогда не была печатной. Устной, народной, под шум печатных станков.

Проза же прерывалась. В литературе, от которой требовали «памятников», угрожая пистолетом, проза смолкла.

Но самое смешное в своей неумолимости, что возродилась проза лишь в виде «памятника», и первыми были «Москва—Петушки» в 1969 году.

Можно так, образно и лестно, счесть, что советская власть уплотнила время, сжала его репрессиями до плотности египетских веков, до структурных изменений породы под столь геологическим давлением верхнего эшелона. Мы всегда готовы польстить власти, признав за бесчеловечностью — силу.

Нас так сдавило, что-то, на что требовались века и тысячелетия, мы приспособились «созидать» за две-три пятилетки. Развитию этого тезиса я и хотел посвятить забытую статью. Так сжало нас время — что вот, в результате, и памятник.

Хвастать можно и страданиями, не надо забывать, как нас помучили. Тут нет достижения.

Достижения нет — а памятник есть. Поднатужимся. Кашка эпохи. Свидетельство.

Благородство — вот еще признак памятника. Родовой признак победы над историей.

От «Москвы—Петушки» разит благородством, а не перега-ром. От Венички не воняет. Это чистая субстанция. Возгонка героя.

То, что на обложке стоит имя автора «Венедикт Ерофеев», больше свидетельствует об анонимности литпамятника, чем даже отсутствие имени. Потому что и герой поэмы — Веничка Ерофеев, но герой-то в этом случае — никак не автор. Так Печорин мог бы быть автором романа «Герой нашего времени».

Так — «Николай Николаевич».

В 1980 году я читал анонимную повесть автора уже совсем другого поколения — «Венок доносов» (Петр Паламарчук). Или манифест Митьков и текст «Максим и Федор» оказались принадлежащими не группе, а именно писателю — Владимиру Шинкареву. Популярны эти тексты по-разному, зато достоинства одинакового. Каждый раз достижение автора бывало столь абсолютным, что не нуждалось уже в подтверждении в последующем творчестве.

И было это все написано на нашем с вами языке.

Прочтите следующий набор и попробуйте угадать, как такое может прийти в одну голову.

Гуляев, Сидоров, Каценеленбоген, фон Патофф, Эркранц, Петянчиков, Кырла Мырла, Яблочкина, положение в биологической науке, Лубянка, чифир, «Герцеговина Флор», «Привет холодному уму и горячему сердцу!», тов. Растрелли, НЭП, коммунист Бинезон, Гиперболоид инженера Гарина, Коган-дантист, Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев, Крупская, Землячка, Киров, Джамбул, Орджоникидзе, озеро Хасан, Челюскин,

Леваневский, Чкалов, Колыма, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, «кадры решают всё», «эмка», Анна Ахматова, Зошенко, астроном Амбарцумян, Каганович, Маленков, Молотов, Тито, маршал Чойбалсан, Корнейчук, «Вечёрка», «Гудок», «Пионерская правда», Женская консультация им. Лепешинской, Зоя Федорова, «Радищев едет из Ленинграда в Сталинград», «Буденный целует саблю после казни царской фамилии», вот кто сделал пробоину в «Челюскине» и открыл каверны в Горьком, «ленинский огромный лоб», Сталин поет в Горках «Сулико», Стаханов, Плеханов, Миша Ботвинник, мир внимает Лемешеву-Козловскому, Якир, Тухачевский, Егоров, березовая роща, Шверник, проф. Боленский, способ Лумумба-Троцкого, протокол 46, «У самовара я и моя Маша», бендеровцы, Блюхер, Лысенко, Перекоп, Папанин на льдине, «ужас из железа выжал стон», Карацупа и его собака Индира Ганди, папиросы «Норд» («Север»), наше гневное «нет», Кукрыниксы, член горсовета Владлен Мытищев, термитчица коврового завода Шевелева, Эренбург, Юра Левитан, Мартышкин, Норберт Винер-Карцер, Валерий Чкалыч, «Позволительно спросить братьев Олсоп», Пахмутова, Попов, Аврор, Андрей Ягуарьевич Вышинский, работницы «Трехгорной мануфактуры», «Паша Ангелина в Грановитых палатах примеряет корону Екатерины Второй», Вадим Козин, «кухарки учатся руководить государством», Джавахарлал Неру, «Запорожцы пишут письмо Трумэну», из карельской березы, Сурков, Фадеев, Хренников, носорог Поликарп, Сидор Помидорыч, Уланова, «Гуталин», «Друзья и враги» Симонова, «Музыкальная история», «На границе», генерал-лейтенант Денисов, артист МХАТа Тро-

шин, Козловский, Николай Озеров, ОБХСС, «Хвору», сталинская конституция, Аркадий Семенович, Чапаев, в какой-то деревне Каменке, коллективизация, Максим Дормидонтыч Михайлов, Дунаевский, «Мы покоряем пространство и время», Попович, Терешкова, Альф Центавр, Дзюба, арифметик Шапошников, «Жди меня, и я вернусь» Симонова, Чернышевский, Хабибулин, «ум-честь-совесть», Кукрыниксы, Рябушинский, Борис Эдер, Белинский, мудила из Нижнего Тагила, блядь с Курской аномалии, Махно, Родзянко, Галахер, Колыма, Четвертая глава, газ «Зелинский — Несмеянов», «Сулико», Алейников в «Большой жизни». Большой Георгиевский зал, Вучетич и Манизер, «Если завтра война, если завтра в поход, если черная сила нагрянет», Бурденко, инженер-майор Агаланов, «первый сокол Ленин», черный орел Абакумов, Дуров, кремлевский труп — вишневые куранты, Пронькин, Шепилов, «Березки», «Белеет парус одинокий...»

Почему-то именно так заканчивается этот ряд.

## 2. АВТОР БЕЗЫМЯННОГО ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ

*Но не разбился, а рассмеялся.*

М. Горький

*Белеет Ленин одинокий...*

Ю. Алешковский

Итак, кому могло прийти такое в голову, поставить все эти, и сами-то по себе бессмысленные, слова в единый ряд? В данном случае, если рассматривать весь этот ряд как единый текст,

у него будет четыре соавтора. Но один все-таки главный. Это именно ему так досадил Валентин Катаев, что именно названием его повести заканчивается все перечисление.

Разъясним хотя бы последние слова...

Еще в дописьменный свой период Юз Алешковский зачинает устную серию «мини-классики» бессмертным:

Белеет. Парюсь одинокий...

Рождено в бане. За ним последовало:

С печальным шумом обнажалась...

На севере диком стоит одиноко...

И т. д.

Это не просто ирония непризнанного над признанным, это ирония бесписьменного над письменным.

К классикам еще любовная. Как у А. К. Толстого к Пушкину:

Когда бы не было тут Пресни,  
От муз с харитами хоть тресни.

Так что,

Белеет Ленин одинокий —

это не ирония по отношению к юному гению Лермонтову и даже не нелюбовь к Ленину, а некая идиосинкрязия к другу подпольщиков, дворянскому мальчику Пете, герою прославленного романа для юношества Катаева, «ученика» Бунина, — тому Пете, которым нас с детства кормили с ложки наряду с Павкой и Павликом.

Чем объяснить у очень умного и зрелого человека такую долгую, навязчивую до-под- и бессознательного неприязнь? Не умом же? А тем, что природный ум десятилетиями истязается одним и тем же, а именно и только тем, что не есть предмет не только изошренного, но и никакого ума. Ум восстает на новоявленный язык. Естественно — как желудок. Он отказывается переваривать, исторгает.

Очищается.

«Первые книги, которые выйдут в России без цензуры, — говорил Пушкин незадолго до гибели, — будет полное собрание сочинений Баркова». Полтораэта и еще пять лет спустя этот завет остается невыполненным.

Эти последние наши пять лет — пятилетка гласности — особенно наглядны. Цензуры не стало как никогда, однако она оставила за собой, по крайней мере, три пункта: военную и государственную тайну, пропаганду войны и насилия и порнографию. Военная и государственная тайна не выбалтывается, однако, нынче лишь до тех пор, пока она никому, включая ее носителей, неизвестна. Пропаганда войны и насилия либо вообще не свойственна психически нормальному человеку, либо стала такой нормой жизни, что никем не замечается, как наши лозунги. Порнография настолько традиционно не развита, что ее можно было бы и не заметить невооруженным глазом, как чуть завернувшуюся на ветру юбочку, если бы не сам цензурный запрет. Ибо под запрет попал язык, а не описание.

То есть мат — единственная оставшаяся в живых природная и родная часть языка нашего.

«Первые книги, которые выйдут в СССР при действительной свободе печати (не путать ни с цензурой, ни со свободой слова, ни с гласностью...), — скажу и я, все еще не погибая, — будет полное собрание сочинений Алешковского!»

Как нерешительно и стремительно ширилась наша гласность! Еще в 87-м нельзя было упомянуть имя Бродского, а в 88-м доносили за Солженицына. Рассуждались уже не книги (цензуры уже как бы не было), а судьбы (идеология оставалась). Сначала стало можно публиковать тех, кто умер, но тоже в последовательности: предпочтительнее тех, кто при жизни за границей не печатался (Платонов, Гроссман), а потом уже, кто при жизни там напечатался, от чего и умер (Пастернак, Домбровский), затем уже тех, кто еще жив. Но и тут последовательное предпочтение: жив, но ТАМ не печатался (Рыбаков, Дудинцев), затем, хоть ТАМ и печатался, но зато жив ЗДЕСЬ (Искандер, Венедикт Ерофеев), затем даже так: хоть и уехал, зато на родине и не печатался (Саша Соколов, Лимонов), и лишь затем тех, кто и здесь печатался, и уехал, и там печатался (чтобы распечатать последний ряд, следовало для начала ТАМ и умереть, как В. Некрасов). Все это была уже застарелая политика, а не цензура — запретны были не тексты, а авторы. Тут тоже оказалась бездна нюансов, кто за кем. Но вот уже и Максимов печатает свой журнал у нас, а наши журналы заполнены эмигрантской литературой, как в свое время — секретарской. Одной лишь современной литературе по-прежнему не оказалось места. Оказалось, что ее и нет, современной литературы.

Один лишь Юз Алешковский остался нераспечатанным, как и был, обведя собою границу нашей гласности. Или — заточенный в эту границу, как остров. Наша гласность ласково лижет его берег. Никто никогда и не думал бы, что именно этот берег так крут.

Юз Алешковский родился в 1929 году и эмигрировал в 1979 году на волне альманаха «Метрополь», где был впервые опубликован как поэт с песнями, относящимися тоже к жанру «памятника литературы» по причине народности. Поскольку и

этот альманах впервые вышел на Западе, то все, что опубликовал Алешковский: повести-романы «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка», «Рука», «Синенький скромный платочек», «Смерть в Москве», «Блошиное танго» и др. — все это в Америке.

И это драматично и смешно, как сама его проза. Потому что прочесть его можно только в СССР, потому что читатель его — только советский человек, потому что Алешковский непереводим ни на один язык, кроме русского. Ибо написаны его книги на языке, на котором письменности до него не существовало. И словаря. Ни толкового, ни бестолкового. Алешковский и есть и письменность и словарь этого языка. Языка, на котором все мы, советские, как русские, так и нерусские, если же не все говорим, то все живем.

И наши вкусы здесь ни при чем, как и продукты, которые мы потребляем.

Не сразу сварился тот советский язык, на котором вываривает свои произведения Алешковский, но заварен он был враз, гораздо стремительней, чем теперь может показаться. Первая мировая и гражданская перемешали классы, народы и более мелкие социальные слои, прослойки и прослоечки (многие из которых в прежней жизни могли не иметь ни одного прямого контакта) до такой степени, что разделить их обратно не удалось бы и при самом благоприятном обороте истории. Этот мутный поток нового языка родился раньше, чем устоялись новые структуры власти. Эти новые структуры, в свою очередь, смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и это новое наречие органически влилось в общий чан языка. Этот социальный воляпюк ревпропаганды, окопов и подворотен веселил молодых писателей 20-х годов, помнивших язык изначальный. «Рассказы Синебрюхова» Мих.



Зошенки (1921) писаны еще окопным сказом, а уже в 23-м он начинает писать рассказы языком совбыта. И если у Зошенки доминирует речь его героев, то у Леонида Добычина уже в 24-м эта новая речь становится чисто авторской, НЭП сообщает этой речи живое движение. Попытка сделать этот новый дикий живой язык и языком литературы продолжается до тех пор, пока ее не прекращает сверху уже сложившаяся сталинская диктатура. Именно она разлучила живой язык и литературу, разослав их по разным этапам, тем самым прекратив литературу. Далее следует уже история языка, не отраженная литературой.

История геноцида русского языка еще не написана. Она проклевывается лишь в форме редких сетований о его состоянии. Пока что складывается история геноцида людей, причем тоже в обратном порядке: партийцев, советской интеллигенции, крестьянства, дворянства, духовенства, то есть классов, то есть собственно интеллигенции, затем малых народов и наций... подбираемся к большему: к геноциду культуры, к геноциду окружающей среды, человека как такового, то есть к геноциду самой его природы, то есть самой природы, то есть Творения. О, если бы можно было ухлопать сразу самого Бога! — не потребовался бы столь хлопотливый и трудоемкий путь. Мы пишем нынче эту всеобщую историю геноцида и не можем ее охватить — тома сыпятся из наших дырявых рук. Мы не замечаем, что она уже написана, эта история, — это наш язык, наша речь, мы сами, каждый из нас. То, что с ним и с нами, со мной и с тобой стало. Сказано: стиль — это человек.

История геноцида языка могла бы быть написана конкретно, научно. Этаким Гулаг для слов. Язык как Гулаг. Для начала как история партийных постановлений и установок. Потом — как вымирание словаря. Потом — как заселение его разного рода выдвигенцами, под- и пере-селенцами. Потом — как

порабощенной речи. Периодическая борьба за его чистоту— история чисток. Потом — как история восстаний и подавлений языка. При всей гибкости и безответности никто не был таким героем, как наш язык. Никто так не выстоял. Язык рассмеялся. И нет у тирании страшнее врага. Срок за длинный язык и анекдоты — частное тому доказательство.

Существует негласный тест на долгожитие тирана в России: до тех пор, пока напрямую не займется русским языком и евреями. Это и есть вершина пирамиды его власти, вершина падения. Руки тирана доходят до реформ в языке в последнюю очередь, от полноты. «Марксизм и вопросы языкознания», дело врачей и смерть...

Литературная биография Юза Алешковского начинается именно в этой точке, с вершины и нуля 1953 года:

Товарищ Сталин, вы — большой ученый.  
В языкознании знаете вы толк...  
А я простой советский заключенный,  
И мне товарищ — серый брянский волк.

Биографию советского языка он прошел вместе с народом, научившись говорить в 1932-м, учась писать в 37-м, бросив учиться во время войны, сев в тюрьму в 1949-м и благополучно выйдя из лагеря в 53-м дипломированным профессором советского языка. Язык к этому времени состоял из самой жизни, не смущенный и тенью культуры и литературы, но и сама жизнь удержалась лишь в языке, под завязку насыщенном лагерями и новой войною, газетными клише и соцреализмом. Язык этот находился в дописьменном состоянии. На нем все говорили, но никто не писал.

И Алешковский начал как сказитель — с устной литературы. Песня. Кроме великой народной песни про «большого ученого» он создал еще ряд, задолго до бардов и моды на них, в частности «Советскую пасхальную», «Советскую лесбийскую» и великий «Окурочек». Это была поэзия, но была и проза. Тоже устная. Хохма, шутка, каламбур, афоризм — застольное «трёканье». Для остальных это мог быть разговор, для него — жанр. И в этом жанре он был признан в кругу как гений. Но никто в кругу не заподозрил, что он — мастер, что он — работает, что его потребляют, потребляют не всего лишь просто свойственное нормальному человеку желание нравиться, но плоды его умственного и духовного труда. С годами восторг стал недостаточным гонораром и, осторожно попробовав бумагу в письмах к друзьям, пропустив сквозь душу танки в Чехословакию, Алешковский сел «чирикать» прозу и начал сразу с «романа». Писался этот роман, как посвящался, тем же друзьям, кому и письма.

Но и не с романа начал Алешковский, а сразу с памятника литературы. С помощью советской истории столетия развития языка оказались спрессованы в десятилетия, и за пятнадцать лет в одном «отдельно взятом за жопу» Алешковском советский язык прошел свое литературное развитие от песни до рыцарского романа, и советская литература наконец родилась! (В отличие от государственной советской и русской советского периода). Мини-роман «Николай Николаевич» обладает всеми параметрами литературного памятника и по изначальной утрате оригинала, и по необязательности имени автора, и по праву первой ночи регистрации ЖИВАГО языка.

Проза Алешковского несет в себе отпечаток изначального устного жанра — «трёканья». Герой, повествуя от «я», рассказывает за бутылкой историю своей жизни невидимому,

лишенному дара речи, дебильному собеседнику. Но, если и в последующей прозе Алешковский не сумел преодолеть однажды обретенный им жанр и приговоренно за ним следует, то и заслуга его — не в жанре, а самая высшая — в языке.

Как бы пояснить, в чем состояло его достижение? В жизни великий готовщик, Алешковский часто прибегает в своих сочинениях к гастрономическим метафорам и уподоблениям. Попробуем и мы. Представьте себе огромный праздничный стол, на котором было накрыто все. Весь опыт человечества разлит по бутылкам, и века ушли на то, чтобы различить и разделить хмель как таковой по бутылкам, развить культуру виноделия. Шампанское, водка, настойки, коньяки, пиво и вина сотен сортов... сколько труда и ума ушло, чтобы определить и отстоять эти дефиниции! Не говоря о культуре потребления всего этого порознь... Теперь представьте вместо этого изобилия и многообразия одну огромную парашную бочку, куда все это слито, включая и парфюмерию... и мы это поварешкою оттуда хлебаем. Здоровые и передовые и свободолюбивые заявляют: так пить нельзя! Так вот, попробуйте разлить эту парашу обратно в бутылки, причем так, чтобы в бутылке из-под шампанского оказалось прежнее шампанское, а из-под пива — пиво и т. д.

Между тем именно этим мы занялись, начиная с оттепели, отделяя соцреализм от государственной литературы, а то и другое от русской, пытаясь воскресить классическую традицию и отделить язык советской газеты, литературный язык, народную речь, жаргон, феню, мат друг от друга, возводя шаткие интеллигентские мостки через исторические провалы — не заметили, как и подморозило вновь. И милый сердцу Никита Сергеевич, стоило пошатнуться да покачнуться на этих мостках, для равновесия — замахнулся на язык (кто подстрекнул?), намереваясь ввести сверхдемократический закон «как слышится, так

и пишется», и был смещен за столь крайнюю степень волюнтаризма: загрызла его «мышь» без мягкого знака, закусил им «заяц» через «е».

Алешковский же не стал заниматься безнадежным делом обратной очистки речи, окультуриванием остатных ингредиентов, трезво полагая, что на облагораживание языка уйдут не отпущенные ему столетия отнятой у него до рождения культуры, — он взболтал как следует всю эту тошнотворную смесь и выгнал из нее свой первач, по крепости не уступающий царской водке, и растворил в ней свой опыт советского бытия.

Пить этого нельзя, но лечиться можно.

Главным препятствием Алешковского на пути к советской публикации в эпоху гласности является злоупотребление крепкими выражениями, проще — матом. А так, все остальное вроде бы и можно — все уже разоблачено и даже отчасти осуждено. Но — не проклято! А как же проклясть? Ставя точки, что ли?

Дело в том, что язык Алешковского однороден, слова у него равноправны, и употребление советской фразеологии на его страницах куда более непотребно и похабно звучит, чем вульгарные жаргон и феня. Благородные же кристаллы мата, единственной природной и принадлежной части русского языка, сохранившейся в советском языке, продолжают слать нам свет человеческой речи, как погасшие звезды во мраке планетария.

Трудно согласиться, что на языке Алешковского мы не только выражаемся, но и живем, но если притерпеться и принять, то — о чем же Алешковский?.. О том, как же это мы притерпелись и приняли то, от чего содрогается в виде слов, а не действительности. И Алешковский предстает тогда нам писателем чрезвычайно традиционным в оценках, повествующим лишь о смысле вечных общечеловеческих ценностей, моралистом и даже резонером.

Радость жизни — основная моральная ценность по Алешковскому. Извращается жизнь — извращается и ценность. В этом природа его гротеска и метафоры: метафора преувеличена, гротеск метафоричен. Все это шокирует, кричит. За криком можно не расслышать, под шоком не разглядеть. Между тем Алешковский говорит очевидные вещи. Что ж делать, если мы настолько принюхались, что и прижились, что не видим, не слышим и не обоняем? Неужели и так не слышите, а вот так не видите тоже?., вот вам под нос — чего воротите, ваше же...

Повесть «Маскировка» — такая преувеличенная метафора. Событийность у Алешковского — невероятная. Невероятность же эта — наша с вами действительность, увиденная здравомыслящим человеком, с неискаженным чувством нормы, то есть человеком здоровым и нормальным, то есть человеком ужаснувшимся.

«Николай Николаевич» был написан уже двадцать лет тому. Это сочинение историческое (о периоде 1945—1956). «Маскировке» лет пятнадцать. Она вещь уже современная по тому времени: вторая половина 70-х, народная гласность тех лет, задолго до того, как партия нам в очередной раз «открыла глаза». Гиперболы Алешковского уже могут быть опубликованы именно потому, что как бы уменьшились и оказались не такими уж... Многие преувеличения Алешковского оказываются пророческими, сбываются на глазах, хотя бы и в виде парадоксального факта. Журнал «Театр» объявил роман Алешковского «Кенгуру», написанный вслед за «Маскировкой». Сюжет романа — невероятное следствие по делу об изнасиловании и садистическом убийстве бедного животного в столичном зоопарке. Каково же было мое удивление, когда вскоре после отъезда Алешковского (навсегда!) прочитал я информацию в газете, кажется «Московской правде», о чудовищном факте

такого злодеяния в зоопарке и почему-то именно кенгуру... А недавняя война? Хусейновские надувные самолеты и танки, бункера и подземные аэродромы, а также его сводки о победах иракского оружия — что это, как не «Маскировка», уже в мировом масштабе? И разве так уж невозможно, чтобы кладбище провалилось в секретный подземный цех? А как наивно нынче уже звучат сетования героя на отсутствие трескового филе в магазинах, на дороговизну картошки (7 р. ведро), на удвоение тарифа такси (20 коп.), не говоря об алкогольной дороговизне, не то что об его наличии. «Повышение цен на отсутствующие в продаже продукты и промышленные товары оказалось правильным политическим шагом, но не принесло желаемого экономического эффекта» («Маскировка», гл. 10). Сатира, там, где она всего лишь сатира, стареет быстрее всего, ибо — сбывается. Новый Павлов отрабатывает условные рефлексy уже не на собачках.

Тем не менее «Звезда» публикует это в чем-то устаревающее сочинение. И я благословляю этот ее до сих пор решительный шаг, дабы наши перестройка и гласность не оказались очередной «маскировкой» режима, чтобы не вступить нам в очередной исторический период повторения непройденного.

### 3. ХЕРР ГОЛЛАНДСКИЙ...

*Наши беды не переводимы.*

М. Жванецкий

Я легкомысленно взялся помочь милой переводчице, прокомментировав загадочный список.

Проблема! Проблема хотя бы с точки зрения здравого смысла. И нам-то (каждому следующему поколению все боль-

ше) придется залезать в справочные издания (желательно устаревшие, легкомысленно выкинутые на свалку истории), чтобы объяснить западному читателю с внятностью и точностью, к которой они приучены, суть того или иного недоступного им понятия.

Например: «Герцеговина Флор», Землячка, «Челюскин», Зоя Федорова...

То же ли это самое, что и наше детское усилие прочесть в комментариях к «Трем мушкетерам», сколько лье в луидоре или когда Ришелье любил Рекамье?

Почему-то — не то же.

Про «Герцеговину Флор» еще можно рассказать... Как Сталин разламывал папиросу, набивал ее табачком трубку. А что сказать им о «Челюскине»? Что это — пароход или исследователь, кто такой Отто Юльевич Шмидт и зачем его спасать первым Героям Советского Союза?... Что сказать им о Землячке... Что она член КПСС с 1896 года, в то время как сама КПСС — с 1952-го? Что такое ВКП и маленькое «б»? Или что *zemlya* по-русски означает «ёрс» (или как там по-голландски), а «землячка» — соотечественница по малой родине... или что она работала в наркоматах РКИ и НКПС... И что такое наркомат, и что такое РКИ, и что такое НКПС...

Лучше тогда о Зое Федоровой... Ее нет в энциклопедии. Что была она настоящая кинозвезда 30-х годов, что имела роман с американским военным атташе, за что и села, что ее красавица Вика родилась там, а потом уехала к папе туда? Или что бедную Зою жестоко убили в собственной квартире при крайне странных и сомнительных обстоятельствах? Или что снималась она, уже пожилая красавица, в роли школьной уборщицы в детском фильме по сценарию того же Юза Алешковского и он ей признался в той любви, которую испытывал к ней до войны, а она



ему сказала: «Дорогой мой, тогда все меня любили».

В «Войне и мире» у Льва Толстого есть место, описывающее мирное общение русских и французских солдат. Солдаты, простые люди, преимущественно крестьяне; понятие «народ» в 1805 году другое, чем сейчас. Обе стороны в совершенстве не знают язык друг друга, и им от этого удивительно весело. Это очень смешно — воспринимать чужой язык с точки зрения своего, только на слух. Им весело настолько не понимать друг друга.

Эпизод этот имеет прямое отношение к проблеме перевода вообще. Но особое значение приобретает он в советское время, при переводе русской литературы советского периода. При попытке же перевести Юза Алешковского на иностранный язык мы окончательно попадаем в положение толстовских солдат.

Потому что сам советский язык является в каком-то смысле плодом переговоров. Так забавно и точно подмеченных Толстым. После революционных кровосмешений (кровосмешений) речи, отчасти представлявших если и не совсем естественное развитие языка, то хотя бы естественное его изменение, по его законам, — наступает и время его стабилизации (скорее «статизации»), отражающей стабилизацию сталинской диктатуры. 30-е годы, язык, в котором и рождается Алешковский.

Язык, как известно, — для общения и развивается лишь в общении, то есть сам язык нуждается в общении. В стране с уже опущенным железным занавесом язык общается лишь с газетой, унифицированной идеологией и пропагандой превращается как бы в одну огромную газету, величиной во всю страну. В эту газету страна и завернута.

Слово поступает в язык сверху и переваривается всей страной. То ли это процесс над врагами народа (Бухарин, Рыков,

Зиновьев, Каменев), то ли это трудовой почин шахтера или тракториста (Стаханов, Ангелина), то ли это протест против «происков империалистов» (Черчилль, Риббентроп, Керзон, Тито), то ли героический перелет или дрейф (Чкалов, Папанин, Челюскин, Леваневский), то ли это прогрессивные гуманисты, друзья советского народа и человечества (Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Джавахарлал Неру), то ли это достижения советского спорта и культуры, поразившие весь мир (Уланова, Лысенко, Ботвинник, Амбарцумян, Яблочкина, Кукрыниксы, но и Корнейчук, Фадеев, Симонов), то ли это набор обязательного всеобщего среднего образования, то есть вообще школьный (Радищев, Горький, Джамбул) — все это не конкретные исторические имена и фигуры, а СЛОВА, насажденные в народное сознание пропагандой, слова, по природе своей ничего не значащие для народа, — ЗВУЧАНИЯ. Это такие гармонические ряды или даже трели, высвистываемые на мотив членов Политбюро (Каганович, Маленков, Молотов). Чуждые уху и сознанию, насильно насажденные слова и имена (одно и то же имя не сходило месяцами и даже годами — Стаханов, Чкалов, озеро Хасан и т. д.), иногда звучали смешно и обретали народную этимологию, становились как бы частицами, вставными словами, паразитами речи, чем-то синонимическим (что Яблочкина, что Джамбул, что Чойбалсан, что Лумумба, что Дзержинский, что Буденный), то есть начинали выполнять ту же функцию, что и мат.

Это и есть одно из основных достижений языка Алешковского — зафиксировать и развить отношение языка русского к советской идеологии.

Поэтому попытка прокомментировать для иноязычного читателя все советские слова, употребленные Алешковским,

была бы не только громоздкой, но и бессмысленной не только потому, что жизнь наша и опыт происходили по разные стороны Луны, не только потому, что этого никто, кроме нас, не поймет, но и потому, что и сами-то мы этих слов не знаем и не понимаем, а лишь катаемся по этому скользкому ассоциативному слою, как по льду. И комментарий требуется уже не только при переводе с языка на язык, но и при переходе от поколения к поколению. Кому еще что-то говорит слово «Лумумба», тому уже ничего не говорит слово «Паша Ангелина».

Советские слова в тексте Алешковского следует воспринимать как неперебиваемые в той же мере, в какой неперебиваем мат. Если непонятно, значит ругается, а звучит неплохо. «Маршал Чойбалсан» разве не «ё'б твою мать», а Лумумба — разве не способ?..

Для ориентации восприятия иностранцем незнакомых слов разберу лишь несколько типологических примеров.

«Тов. Растрелли» — товарищ (сокращенное тов.), революционное обращение, заменившее «господина» (господ больше нет), строго обязательное в обращении партийцев друг к другу (как «геноссе»); Растрелли — итальянский архитектор XVIII века, построивший очень много знаменитых зданий в Петербурге, в частности Зимний дворец, который легендарно брали штурмом во время Октябрьского переворота; расстрел (расстрелять, расстреливать) — основной способ казни в советское время; как правило, без суда и следствия.

«Паша Ангелина в Грановитых палатах примеряет корону Екатерины II, и кухарки учатся руководить государством». Паша Ангелина — кажется, первая советская женщина-трактористка (традиция эта перейдет впоследствии к Терешковой, первой женщине-космонавту, тоже у Алешковского поминаемой), соответственно ее фотографии не сходили с газетных

полос целую пятилетку, была депутатом Верховного Совета СССР, а сессии его проводятся в Кремле; Грановитая палата — едва ли не самая знаменитая комната в Кремле, каждому почетному гостю демонстрируемая: там трон, на нем «заседал» еще Иван Грозный; Екатерина Вторая — великая императрица XVIII века, все еще уцелевшая как имя в памяти народной и не до конца изгнанная из школьных учебников истории в качестве жестокой «крепостницы»; естественно, что именно Паша Ангелина примеряет ее корону. Знаменитое высказывание Ленина о совершенстве будущего социалистического государства: «У нас каждая кухарка сможет руководить государством»; в 30-е годы широко распространяются всякого рода «Курсы» для скорого обучения, ликвидации безграмотности, повышения квалификации, курсы кройки и шитья и т. п.; поэтому не так уж невозможны и «курсы обучения кухарок руководством государством». Паша Ангелина ведь уже руководит, она — член парламента.

«Привет холодному уму и горячему сердцу!» — каламбур, произведенный из знаменитого, распечатанного в лозунгах высказывания Феликса Эдмундовича Дзержинского, первого Председателя ВЧК (Чрезвычайной Комиссии, будущего НКВД, будущего КГБ): «Революцию надо делать чистыми руками и...» — я и сейчас не уверен, что там было холодное, а что горячее: все это взаимозаменяемо.

«Вот кто сделал пробоину в Челюскине и открыл каверны в Горьком» — фраза гибридизирована. Страна была охвачена процессами над вредителями, шпиономанией; одновременно она, затаив дыхание, следила за героическим переходом ледокола «Челюскин», обязавшегося пройти «Великий северный путь» за одну зиму, но потерпевшего аварию, так что его пришлось так героически спасать; одновременно страна, также за-

таив дыхание, следила за бюллетенями здоровья великого пролетарского писателя Максима Горького, как теперь известно, отравленного Сталиным, а тогда — врачами-вредителями.

«Андрей Ягуарьевич Вышинский» — знаменитый обвинитель на политических процессах 30-х годов, впоследствии министр иностранных дел. Отчество его «Януарьевич»; Януарий — редкое для слуха имя, данное его отцу по святым; ягуар — свирепый, хищный. Отсюда и каламбур «Ягуарьевич», паспортизирующий экзистенциальную сущность Вышинского.

И т. д., и т. п., и т. п., и т. д., и т. п., и др., и др... и т. д., и др., тпру!

Приехали!

Что они в этом поймут?! Зачем это им!? Зачем им наша духовность?.. Как поведать им о нашей любви к Петру Алейникову, о нашей гордости за первый в мире противогаз академика Зелинского, о том, какой глубокий бас был у Максима Дормидонтыча, о том, как курили мы папиросы «Норд», переименованные в «Север» вследствие борьбы с космополитами, или что Чойбалсана звали, оказывается, по имени Хорлойгин, а МНР звали Монголией, и какая же это прекрасная страна! какие в ней люди и степи... Как я могу им все это объяснить, если ихний русист не знает даже, что такое «карельская береза», ни про Лысенко, ни даже Джавахарлала Неру он не знает, ни про Зошенку и Ахматову... про «ум, честь, совесть» они не знают — вот что.

Ну зачем им засорять голову тем, что мы сами так готовно из нее выкидываем? И что это объяснит им? И как нам самим себе объяснить, почему в нас навсегда застряли слова, ничего не значащие и в таком количестве?

Что из всех этих слов сохранится для нас в языке, когда наконец минует вся эта эпоха? Тайна. Опять загадка.

Вот, к примеру, загадка с детства, занимающая мое воображение. Почему замок — английский, горы — американские, булавка и булка — французские, а сыр и хер — голландский?

Какая нация могла бы предпочесть чужой хер своему? Из какого опыта (реального, исторического) могло родиться такое странное предпочтение?

Долго гадал и вот догадался... Петр! Петр Великий. Двухметровый Петр. Это ведь он навез голландцев, брил бороды, заставлял носить парики, делать книксены, сам звался херр Питер и всем другим велел величать друг друга херрами. Уж так его ругали, так возвеличивали, так честили... Два века миновало, забыли и голландцев, и Петра, а хер — остался жить в языке, отдавая должное историческим заслугам и того и тех — в виде самого глубокого почтения, которое только может оказать народ.

Что у нас с вами есть голландского?

*1969, 1991*

### III.

## *Текст как поведение*

*Власть отвратительна, как руки брадобрея...*

*О.М.*

1–3.

Есть три эпохи у воспоминаний...

И три грамматических времени. Но — четыре времени года. Глаза — два. Рот — один. Один язык. Бог один. Век — это единица. Человек — век. Рифма бедная, но единственная. Десятками измеряются яйца на рынке, сотнями — года в истории. Человеческий век не равен историческому. Особенно, если история укорачивает его на поколение.

«И внуки нас похоронят...» До трех не дадут досчитать!

Два сонных яблока у века-властелина  
И глиняный прекрасный рот,  
Но к млеющей руке стареющего сына  
Он, умирая, припадет.  
Блудный сын тоже один. Как отец.

Написав «1 января 1924<sup>1</sup> года», по-видимому, именно 1 января, Осип Мандельштам ходил к гробу Ленина 23 января (при-

бой у гроба) и после этого еще работал над стихотворением.

Его воспоминание (оно же прощание) об эпохе родилось раньше, чем она ушла. Начинались «разборки» с другим отцом.

Все, что написал Мандельштам в прозе, — воспоминания (даже его статьи о литературе). С одним принципиальным отличием: мемуары его пишутся не потом, а сейчас, со скоростью и внезапностью лирики. Если он пишет о детстве, о Тенишевском училище («Шум времени»), то есть об очевидном прошлом, отрубленном революцией от непрерывного времени, то пишет он сейчас, и время написания важнее времени воспоминания. И когда время воспоминания приближается, становится смутным («Египетская марка», «Феодосия»), и когда время впечатления и время повествования совпадают, как в «Путешествии в Армению» или «Четвертой прозе»... все это — сейчас.

Это сейчас-счастье происходит с читателем и сегодня.

Потому что настоящий текст важнее памяти: память уточняется текстом, текст всегда важнее события, именно он и есть событие. Он — настоящее, и он настоящий. Как «Медный всадник» или «Двенадцать».

Непреложный закон лирики.

Лирика лирикой, но Мандельштам пишет прозу именно прозой, совершенно не путая этих стихий, лишь обогащая их принципиальным различием как в поэзии, так и в прозе. Это трудно доказать, но легко почувствовать:

Золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:

— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела...

Я сказал:

— Виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке. (1921)



Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века-властелина... Снег пахнет яблоком, как встарь... И известковый слой в крови больного сына растает, и блаженный брызнет смех... Но пишущих машин простая сонатина — лишь тень сонат могучих тех. (1924)

Ночью на Ильинке,  
 Когда ГУМы и тресты спят  
 И разговаривают на родном китайском языке,  
 Ночью по Ильинке  
 Ходят анекдоты.  
 Ходят Ленин с Троцким в обнимку,  
 Как ни в чем не бывало.  
 У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке.  
 Ходят два еврея, неразлучные двое —  
 Один вопрошающий, другой отвечающий,  
 И один все спрашивает и спрашивает,  
 А другой все крутит, все крутит,  
 И никак им не разойтись. (1930)

Где поэзия? Где проза? Где граница?  
 Жизнь-поэзия-проза... вот три времени!

Я человек и народный: при Сталине я не знал ничего, кроме одного стихотворения, неизвестному мне лицу принадлежавшего; при Хрущеве я узнал все про то, чего не знал при Сталине; после советской власти (вот совпадение!) я попытался расплатиться с О. М. за все это, вернуть долг. Все это вместе — мое настоящее, то есть воспоминание.

4.

В армии повели к зубному. Зубного не было. Усадив на лавку у дверей кабинета, старшина сказал: «Отдыхайте». И отошел по своим делам.

Не ждите, а отдыхайте.

И вот ни зубного, ни сопровождающего... С тех пор эта унылая стена и дверь на фоне зубной боли символизируют для меня понятие «отдых».

31 декабря 2000 года кончился, а 1 января 2001 года начался... Ничего не произошло.

Сменилась эпоха описания. Вы еще не прошлое, но уже не будущее.

Вы — настоящее.

Отдыхайте.

Тем не менее переход оказался озаглавлен:

26 декабря 2000 года исполнилось 175 лет восстанию декабристов.

27 декабря — 62 года со дня смерти Осипа Манделъштама.

30 декабря — 20 лет со дня смерти Надежды Яковлевны Манделъштам.

5 января 2001 года — 50 лет со дня смерти Андрея Платонова.

15 января — 110 лет Осипу Манделъштаму.

16 января, отслужив все эти мессы, на ровном месте, в трезвом виде, среди бела дня я упал и сломал себе ребро... Вот я и в XXI веке!

Лежу под сугробом, отдыхаю... Кто время целовал в измученное темя, с сыновней нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном...

Тот век окончательно кончился, этот — не начался.

28 января исполнилось 5 лет со дня смерти Иосифа... Помню, встретились мы с ним в 1971 году случайно на Невском. Погодка была... бабье лето...

Болтали о разнице поэзии и прозы. Кто из великих поэтов насколько ее понимал... На Пушкине сошлись, на Пастернаке разошлись. А вот что он сказал о Мандельштаме, не помню.

5 февраля с. г. в поезде Петербург—Москва снится мне сон. Будто я в некоем сером городе, но знаю, что это Воронеж; будто я в нем впервые, но знаю дорогу. Город спит. Я ложусь на одеяло около почтамта и начинаю ждать открытия.

Все пути ведут в Воронеж... Встречались ли Мандельштамы с Платоновыми?.. Перелистываю записную книжку в поисках воронежских телефонов: были же! Одна знакомая — у нее еще сын в Китае — перебралась сюда... Хао-хао... Халды-балды... У тебя телефонов моих номера...

5.

Как только сажусь писать о Мандельштаме, у меня выгорает компьютер. Что в Москве, что в Питере. Каждый раз удается лишь заголовок. В Москве был «Выпрямительный вздох», в Питере — «Проза Музы, или Муза прозы». На какую-то не ту клавишу нажимаю...

От руки теперь что напишешь?.. Не стихи же!

Мандельштам, чеши собак! Я уже в Берлине. Здесь компьютер работает.

Здесь у меня на бумажке для табака, как на городском гербе Армавира, написано: *Einer neuen Wahrheit ist nichts schadlicher als ein alter Irrtum. Johann Wolfgang von Goethe*, — не иначе как собака лает, ветер носит.

Перевод оказывается дословным: с языка Горнфельда на

язык де Костера.

Мандельштам был смешлив и обидчив. Как ребенок. Палец покажи — уже хохочет, пальцем покажи — уже обидится. В «Четвертой прозе» он рассмеялся над своей обидой. Это и есть радость. Как свобода.

6.

Мой отец до конца жизни брился бритвой жиллет. Берег и холил станок как личное оружие — продувал ствол, правил лезвие о ладонь. До сих пор в ушах этот шаркающий звук — ладонь суха и тепла, и кто-то дует в бутылку (не очень жалобно). Чехова и отца я люблю ровно и одинаково.

Мандельштама люблю отдельно.

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем... не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине... — Я перепечатывал этот текст с рассыпающейся рукописи, выданной мне на ночь под клятвенные заверения, и смеялся в голос. Радовался. Впервые радовался свободе.

(Было лето 1963 года, дача в Токсово, пишущая машинка Adler... Первая публикация «Четвертой прозы» произошла почешки с моей машинописи. Надеюсь, что в перевод вклялись мои опечатки.)

7.

Почему, однако, четвертая? Гениальный писатель всегда себе что-нибудь да присвоит: Набоков — бабочку, Платонов — паровоз. Мандельштам присвоил себе числительное — заслуга несравненная! Каббалистическая.

Возможно, проще: в «Египетской марке» — три прозы. 1928 год: выход этой (последней) книги прозы О. М. и газет-

ная дуэль с Горнфельдом, закончившаяся выстрелом в воздух «Четвертой прозой», предстали перед мысленным взором О. М. под одной обложкой, что могло и рассмешить его обиду. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух.

Настоящий выстрел и настоящий воздух.

8.

А вдруг не только поэтому? Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то — четырех задыханий придет выпрямительный вздох.

Опять — четыре. Впрочем, и строчек — четыре.

Поэту даруется дар, читателю — поэт. Как странно, как индивидуально поэт приходит к читателю! Вот мой частный (он же личный) пример.

1. Я краду книгу.

У моего дядьки — библиотека. Она не сожжена в блокаду. Он поощряет мою тягу к чтению. Сталин еще жив. Запрещенных книг у него нет, но неразрешенных — три шкафа. Стройные собрания сочинений: Мопассана и Мережковского, Блока и Джека Лондона. Я предпочитаю Джека: Смок Беллью — мой герой. Но есть и несколько случайных книг: так, мусор, декадентщина... «Весенний салон поэтов» (1918). Футуристическая обложка. 100 поэтов по алфавиту, от Адалис до Эренбурга. Маяковский, Есенин, Блок—Брюсов да еще блудница Ахматова... остальных даже не слышал: кто это — Цветаева, Ходасевич, Пастернак, Гумилев... Ивановы — братья? Кто мне сразу понравился, так это Ропшин (Савинков). И вдруг...

...«Господи!» — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди...

Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

Евангелия в библиотеке у дядьки не было. Это была, пожалуй, запрещенная книга. И стихотворение Мандельштама стало моей первой молитвой.

Камень, отваленный от груди, — первый выпрямительный вздох.

2. Я дарю книгу.

...Одиссей возвратился, пространством и временем полный, — мой второй выпрямительный вздох: после «Tgisia» мне уже не удалось почувствовать поэзию глубже. Я благополучно сбежал из Заполярья, из стройбата. Я был так влюблен, что подарил именно эту книгу... До сих пор жалею.

3. У меня крадут книгу.

В 1961 году я стал счастливым обладателем всех четырех номеров «Русского современника», лучшего толстого журнала всех времен.

Он открывался стихотворением О. М. «1 января 1924 года». То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш — и щучью косточку найдешь... Не пойму, чем так возмущали эти строчки Георгия Иванова, — меня они привели в восторг, оголосовали. Слово гласность еще не существовало, но для меня произошло: третий выпрямительный... (Любопытно, что журнал этот пропал у меня в связи с гласностью: я предложил его как образчик для перестройки «Нового мира». Мне его не вернули).

4. Мне дарят книгу.

Лето 1963 года, Таруса. Меня представили Надежде Яковлевне. Из ее рук я получил рукопись многострадального сборника О. М. Болтая ногами в речке, листаю «Воронежские тетради». После этого я готов от руки переписывать его тексты. «Четвертая проза» — четвертый выпрямительный. Вот мои четыре вдоха — по числу задыханий.

9.

Не один я такой.

Мандельштам — любят. Не всенародной любовью, а — каждый.

Георгий Иванов обожает «Камень», беспокоится за судьбу поэта в «Tristia», находит беспредметным «1 января 1924 года» и лубочной «Армению».

Цветаева: «откуда такая нежность» — и «рву в клочки подлую книгу М-ма “Шум времени”».

Племя мандельштамоведов без наганов любит поэта робея, наконец, страшась такого вида собственности, как поэт.

Из стихов, посвященных ему после смерти, есть замечательные, по крайней мере два: Арсения Тарковского и Беллы Ахмадулиной. Белла в раю кормит О. М. огромным пирожным и плачет (а в стихах это вообще удивительно!).

В 1997 году, во Владивостоке, во дворе скульптора Валерия Ненаживина, я столкнулся с самой невероятной историей такой любви.

Воспитанный на ненависти к монументальной пропаганде, я еще ни разу не любил памятника конкретному человеку, даже писателю, с трудом смиряясь лишь с андреевским Гоголем, да с Опекушиным (опека над Пушкиным), да с дедушкой Крыловым (по подсказке того же Мандельштама) в Летнем саду.

Здесь, в тесном дворике, в толпе пограничников и горнистов, я видел подлинного Мандельштама! Предсмертный, он вытянулся к квадратику неба, гордо, по-птичьи задрал свою птичью голову, поднеся задыхающуюся руку к замолкающему горлу. То самое пальто, те самые чуни... Он успевает сказать нам свое «прости». Невыносимо!

Памятник был поставлен у себя и для себя.

Скульптор не совершил античной ошибки Пигмалиона: он

любил человека, а не статую. Ненаживин! — бывают же фамилии.

Историю создания он излагает так.

Конечно, он знал, что в его родном городе погиб поэт, но не больше. Однажды, в тексте современного автора, набрел на цитату. Строчка потрясла его. Он достал книгу Мандельштама и погрузился в нее. Он прочитал всего Мандельштама и все о Мандельштаме. Он почувствовал и пластику, и массу всех его слов. Он вылепил Мандельштама из этого материала, а не из глины.

10.

Общепринято полагать, что прозой писать легче, чем стихами.

Может быть, потому, что в прозе нет рифм? Ритм в прозе есть.

Может, потому, что в прозе можно употребить много больше слов, чем в стихах?

Попробуйте, однако, употребить много слов, чтобы все были одним текстом!

Однако Муза Поэзии есть, а Музы Прозы нет.

Поэтому проза за поэтами признается, а стихи за прозаиками — нет. Разве что Набоков предпочтет стихи Бунина его парчовой прозе, вряд ли надеясь, что кто-нибудь совершит то же самое в отношении его самого. Замечательная тема в непогоду для ленинградского литературного чаепития. Тут нам Блок протягивает руку...

Он, кстати, замечательно прозой писал, в «Двенадцати» совершив этот переход через Перекоп, там и погибнув. О Тайне Поэзии знают хотя бы, что она есть. О Тайне Прозы не хочется думать.



Переход прозаика из прозы в поэзию — вид слабоумия.

Переход поэта из поэзии в прозу — вид безумия.

За одним исключением: когда они знают разницу. Разницу извели в «золотой век» Пушкин с Лермонтовым. Вот кто не путал Музу с Музой!

Написали «Пиковую даму» и «Тамань»; устав от напряжения начатого стихотворения, дописывали его прозой. Пора, мой друг, пора!

Мандельштам жужжал, когда писал стихи, пропуская свои царственные эпитеты, чтобы на досуге подыскать их поточнее. Не знаю, как он писал прозу... думаю, что посмеиваясь. Он ведал разницу и наслаждался ею.

Запечатлеть переход из стихии в стихию... возможно, именно здесь — непревзойденность «Медного всадника», жертва «Двенадцати» и некоторая пропущенность исследователями «1 января 1924 года».

Однако именно это стихотворение осталось в грамзаписи, запомнило его жужжание.

«Двенадцать» — это «Медный всадник» Блока, «1 января 1924 года» — это «Двенадцать» Мандельштама.

Это — дерзость. Это не прощается. Это приговор.

11.

Переход из поэзии в прозу — вид безумия. Не знаешь, как тут быть. Как поступить. Слияние слова с поступком. Поведение.

Поведение поэту свойственно: личность выдавливается режимом поэзии на поверхность кожи. Дано мне тело — что мне делать с ним, таким единым и таким моим?

Поэтическое Я сменяется поведенческим Я, прозаически панибратствующим со стихотворным.

Смотрите, как на мне топорщится пиджак... Довольно кук-

ситься! Бумаги в стол засунем!.. Прыжок — и я в уме...

И столько мучительной злости  
Таит в себе каждый намек,  
Как будто вколачивал гвозди  
Некрасова здесь молоток, —

напишет бывший автор «Tristia», провожая прощальным взглядом свою поэтику.

12.

У Мандельштама граница поэзии и прозы не наблюдается, как у русалки переход в хвост, как у кентавра переход в лошадь, как и у прочих монстров культуры... Говорили, что в обличье У поэта нечто птичье И египетское есть... Гнутым словом забавлялся, Птичьим клювом улыбался...

Однако «1 января 1924 года» ведет в прозу так же, как «Четвертая проза» — в «Воронежские тетради».

Я должен жить, дыша и большевея...  
Подсознание вводит в строку вошь.

Цитируя современность: хотел как лучше, а получилось как всегда.

Не получится.

Поиски общей жизни не равны общему делу.

Искренность усилий не равна энергии заблуждения.

Современники — сокамерники. Гений помещен в одиночку.

13.

На границе прозы и поэзии расположено поведение. Если человек не в силах ничего создать, он может подать пример. В

лучшие времена — стрелялись на дуэли, в худшие — сами стрелялись и вешались.

«На безмолвие стен человек отвечает безмолвием».

Смелость человека — на месте поэтической смелости.

Рвать расстрельные списки у Блюмкина, бить Алексея Толстого палкой по голове. После этого можно и по начальству побегать.

14.

Никогда я по начальству не бегал. Николая Ивановича у меня не было.

А тут побежал. Даже с азартом.

Владивосток отстоит от Москвы не только на много тысяч километров и часов разницы, но и в истории. Тут советская власть на пять лет позже и на столько же лет прочнее: где у нас уже разрушилась — там еще разрушается, где у нас уже с транспарантами не ходят — здесь еще собираются: одни за мэра, другие против губернатора.

Меня не за того приняли: то ли за ревизора, то ли за Хлестакова. То есть приняли — и тот, и другой.

Один подарил мне свою фотографию, другой почему-то — мою.

Главное, что оба согласились, что памятник надо установить в будущем году в связи с шестидесятилетием гибели поэта.

15.

Год, однако, шли переговоры, и будто я все это время продолжал сидеть в приемной у губернатора в очереди из врачей и казаков. Они были передо мной. Наконец секретарша (совершенная белочка, маленький грызунок — попробуй скажи лучше!) ввела меня под портрет Муравьева-Амурского, пред очи

Самого, вручившего мне мой собственный портрет в рамочке.

— А кто такой Мандельштам?

— Величайший русский поэт нашего века.

— Русский?

— Поэты нерусскими не бывают.

— С сегодняшнего дня читаю только его.

Это документально. Через год мы со съемочной группой\* приехали ставить памятник, застав обстановку еще более революционной: юбилей советской власти на Дальнем Востоке, выборы мэра, отмена выборов, перевыборы... не до Мандельштама.

Ангелы! Именно поэтому памятник был установлен и открыт, шестидесятилетие гибели было отмечено. Берусь утверждать, что это первый подлинный памятник эзку на территории нашего Гулага.

16.

Как не хотел Ненаживин расставаться с памятником: «Ему же здесь хорошо!»

Он был прав. Через год трусливая ночная стая отбила Мандельштаму и клюв, и руку. Теперь это называется ласково «актом вандализма».

Памятник вернулся домой. К папе.

И я снова в приемной. У нового мэра. Он меня заверяет.

Теперь памятник отлит из металла и будет установлен в более подходящем месте: в самой зоне, где погиб поэт. Тогда это будет первый памятник не только эзку, но и зоне.

---

\* Телефильм «Конец пути» («Культура», 1999).

Удивительно посмертие русского писателя! Тексты его дописываются, жизнь его доживается.

«Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками» («Четвертая проза»).

Чтение Мандельштама — тоже дело птичье: по зернышку.

Мысль — живая. Она шевелится. Она принимает позу. Она ползает по строке до сих пор, следя за твоим взглядом.

Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей...

Как же он до сих пор не отдыхает!

*10 февраля 2001,  
Берлин*

#### IV.

### *Поведение как текст*

*Вот как надобно писать!*

Пушкин

(Последнее предложение последнего письма.  
Последняя его точка.)

1.

«Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку в моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 дек. — Бывают странные сближения».

«Имея привычку», Пушкин, однако, саму эту заметку не датирует. Писана же она ориентировочно в прославленную его первую Болдинскую осень. Пушкин хорошо помнит обстоятельства написания «Графа Нулина», о которых не ведал во время создания. И почти через пять лет вторично и подчеркнуто датирует поэму.

Биографические и исторические обстоятельства и создания поэта не столько отражают друг друга, сколько идут навстречу, иной раз меняясь местами, ибо сами становятся обстоятельствами биографии. Они взаимовлияют, они равноправно вплетены в судьбу. Написанное произведение — всегда победа, позволяющая увидеть судьбу, не исказить или выдержать ее удары. «Борис Годунов» уравнивает присутствие на Сенатской площади, а «Медный всадник» позволяет снести легкость камер-юнкерского мундира. Для нас «Медный всадник»

— уже большее историческое событие, чем само наводнение...

Со временем дата наполняется дополнительным смыслом, как воронка водою.

Как тянет любого автора, закончив значительный (пока что лишь для себя...) текст накануне, скажем, собственного дня рождения (или возлюбленной, или наследника...), или просто недолюбимая то или иное число, или иное число любя, чуть слукавив, изменить дату на день вперед или назад... Не просто тщеславие — простительная слабость — одно из немногих прав автора. Не только и слабость... попытки приложить ухо, услышать приближающийся гул в рельсе времени.

Общая для нас хронологичность: дня рождения, Нового года — для Пушкина как раз нехарактерна. И в письмах и дневника — редко и достаточно безразлично: «Тетка <...> прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой — так что боюсь поносом встретить 36-ой год бурной моей жизни»; «Начнем новый год злословием, на счастье»... Кажется, лишь «дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?..» датировано днем рождения — но зато и все стихотворение именно на эту тему. Датами года для Пушкина безусловно зато были дни Вознесения (по собственному признанию), дни 19 октября и 14 декабря. И странно залегает в его жизни еще не имеющее никакого смысла 27 января\* . Возможно, и не каждый

---

\*Вот, например, парадоксальное сочетание дат: «Показание по делу об элегии «Андрей Шеньев». 27 января 1827 года. В Москве: Сии стихи действительно сочинены мною <...> Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря».

Мой корреспондент А.Боберов, литературовед-любитель из Мытищ, сообщил мне однажды ряд своих любопытных наблюдений над числами в жизни Александра Сергеевича. В частности, он построил для Пушкина модные нынче биоритмы и получил на графике два нулевых значения, что бывает достаточно редко и чревато различными опасностями (именно в такие дни на трассу

текст, помеченный 19 октября или 14 декабря, в точности был окончен (или начат) именно в этот календарный день. Слишком часто впоследствии начинает встречаться это «странное сближение». Тем более можно судить, что текстам, помеченным этими числами, Пушкин придавал особое значение. Это акцент Судьбы. (Или пародия на историю: «Мысль пародировать историю...»).

14 декабря 1826 года Пушкин отмечает свой отказ от печатания «Бориса Годунова» в связи с беспрецедентным по глупости царским отзывом.

Второе «Воспоминание в Царском Селе», датированное 14 декабря 1829 года, соединяет собою как 1814 (лицейский) год написания первого «Воспоминания...», так и 19 октября 1817-го с 14 декабря 1825-го, обе даты «зарифмованы» Пушиным и Кюхельбекером (лицеистами и декабристами): «Воспоминаньями смущенный,/Исполнен сладкою тоской...».

19 октября 1830 года (к той же осени относится соображение о «странных сближениях...») Пушкин сжигает X главу «Евгения Онегина», посвященную событиям 14 декабря. Действие уже ритуальное...

---

не выпускаются пилоты и водители...), — именно 27 января 1837 года. Также, отметил Боберов, что 27 января существенно входит в жизнь убийцы Пушкина как до, так и после роковой даты: 27 января 1834 года был он зачислен в гвардию, 27 января 1836 года — был произведен в поручики, — и были то главные события его карьеры, необыкновенно удачно складывавшейся. По этому поводу любопытно также отметить, что трагедия «Моцарт и Сальери» шла дважды в 1832 году (27 января и 1 февраля) и успеха не имела, а через пять лет, ровно в те же числа, в новой «режиссуре» — дуэль и отпевание.

27 января 1841 года был я чуть не убит во Франции, случайным выстрелом, егерем на охоте, ранен в ту же руку... За этими занятными наблюдениями наш корреспондент предлагает нам ряд выкладок, связанных с магическими свойствами чисел 27, 37 и 99... Оказывается, эти числа, в некой математической интерпретации, являются не чем иным, как тузом, тройкой и семеркой (туз



Ровно через семь лет после «Годунова», того же 14 декабря, но 1833 года, запись в дневнике о новом витке взаимоотношений с «высочайшей» цензурой — снова отказ от печатания, на этот раз «Медного всадника», в связи с николаевскими пометками, ставшими Пушкину известными не 14-го, а еще 11 декабря. Но именно 14 декабря это гордое, даже величественное: «Это делает мне большую разницу».

В январе-декабре 1835 года Пушкин конспектирует «Деяния Петра Великого» И.И. Голикова. Хотя конспект до некоторой степени авторизован и некоторые его страницы являются уже пушкинскими, позволяя судить о стилистике будущей его «Истории Петра», сам Пушкин не мог еще относиться к этому тексту как к авторскому, не придавал ему еще значения написанного произведения — это его рабочий материал, который не требует датировки в той мере, в какой бывает значима дата в произведении авторском. Пушкин помечает начало работы, первую тетрадь, потом третью, потом забывает проставлять даты и лишь на последней — снова стоит дата, и это опять 14 декабря. Конспектируется, впрочем, последняя страница жизни, последний год Петра и последний его январь... Но это и начало последнего пушкинского года. «27 <января>, — писал Александр Сергеевич 14—15 декабря 1835 года, — Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неясственных,

---

полагает он единицей, то есть 1, 3, 7...). Полагая 27-е число как днем рождения (по записи в церковной книге), так и днем — смерти, 37 — как годом смерти, так и числом полностью прожитых лет, а 99 — годом рождения, начинает наш математик-пушкинист числа эти делить и множить и извлекать что-то за гранью нашего математического образования, получая, как в замкнутом кругу, все те же числа: либо 137, либо 27, либо 37, либо 999... Даже всех дней жизни начисляет (почему-то в сотнях дней) 137, а точнее —  $137 \times 99 + 137 + 27 + 37$ . Дальнейшие парадоксы Боберова, исчисленные как «ставки Пушкина», приводящие к выпадению дамы пик 27.1.37, перестают быть только забавными...

из коих разобрать было можно только сии: «отдайте все»... перо выпало из рук его». «Петр перестал стонать, — писал он далее, — дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины».

2.

Отношение Пушкина к Петру — тема огромная, непрестанно изучаемая и не до конца изученная. Отношения Пушкина с Петром (личные) освещены еще меньше. Между тем они не только были, но и безусловно влияли на развитие Пушкина, особенно после 1825 года. У Пушкина были предшественники и старшие собратья по перу, но вряд ли кто в России того времени мог взять на себя действительную роль наставника, учителя или кумира: как сравнительная величина Пушкин сразу одинок, как гений. Байрон... После «Цыган» Пушкин не может скрыть раздражения по поводу настойчивого стремления современников понимать его в «байронической» традиции. Другие двое занимают его воображение: Шекспир и Гете (в значительно меньшей степени). Им в основном посвящены его труды 1825 года. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — в восторге этом по поводу окончания «Бориса Годунова» есть и момент восхождения на шекспировскую вершину. «Сцена из Фауста» — легкий пролет не то сквозь, не то над, не то мимо Гете. И, наконец, «Граф Нулин», через месяц с небольшим после «Годунова», — уже пародия на Шекспира — чистый вздох и усмешка освобождения от кумира. Пушкин в русской литературе уже встал на мировую дорогу всей стопой. Пушкин это не только уже Пушкин, но уже только Пушкин. Литературная его роль перерастает в роль историческую. И Петр начинает его занимать более Байрона и Шекспира.

Нельзя сказать, что он так и подумал: Петр и я, я и Петр...

Так задолго до него подумали другие. Эта идея носилась и оседала. Она была во многих головах. Это была общая мысль. Мысль самого времени.

Баратынский писал в то же время Пушкину в ссылку:

«Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один...»

И Бестужев писал ему туда же:

«В доказательство тому приведу и пример: что может быть поэтичнее Петра?»

И кто написал его сносно?»

Жуковский все подталкивает под локоток:

«Ты создан попасть в боги — вперед».

«На все, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений».

И так много раз. И хотя Пушкину про Петра и не пишет (из постоянных своих «педагогических» соображений) — Вяземскому, мечтая о будущем Пушкина, пишет (26 декабря 1826 года):

«Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого».

Пушкина же напутствует:

«Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы».

В 1825 году Пушкин впервые вчитывается в «Деяния Петра» И.И. Голикова...

Эти десять лет буквально «посвящены» Петру, составляя значительнейшую часть всего его творчества: первое большое

произведение в прозе, хотя и неконченное, «Арап Петра Великого» (пушкинская проза начинается с Петра...), «Полтава», «Стансы», «Медный всадник», «Пир Петра I... И, наконец, бесконечная работа над будущей «Историей Петра», прерванная лишь смертью.

Пушкин гордился своим прадедом особо, через «арапа», Петрова крестника, роднясь с Петром. В набалдашник его палки была вделана пуговица с мундира Петра...

14 декабря 1835 года, открывая последнюю тетрадь конспекта, Пушкин записывал:

«1724. Петр во время праздников занялся с Феофаном учреждениями, до церкви касающимися. <...>

Петр сим указом превратил монастыри мужские в военные гофшпитали, монахов в лазаретных смотрителей, а монахинь <...>

Указ о вольности брака. Родители должны были давать присягу, что детей не принуждают <...>

Незаконнорожденных записывать в художники <...>

О доносах по службе подчиненного на начальника.

За бранное слово, крик etc. штраф (в присутственном месте) <...>

Петр занялся планом Академии Наук — и списывался о том с Лейбницем, Вольфом, Фонтенелем <...>

Библиотекарю Шумахеру для угощения посетителей кунсткамеры определено 400 р. <...>

Петр, издав множество еще указов, отправился в феврале к Олонецким водам и лечился...»

Пушкин виднеется из-за страницы конспекта — с его интересом и удовольствием. Конкретность и живость государственной заботы прельщает, так или иначе, его в Петре. Быстро меркнувший ассоциативный блеск за каждой строкой

человека, живущего через 110 лет, человека, торопящегося сейчас, собирающегося написать все это потом. Изредка ассоциация современника прорывается все же в текст:

«Аврамов был при шахе в Ардевиле. На него нападала чернь, но он был щастливее Грибоедова. Он отстрелялся и бутылкой вина утишил все сие дело <...>

5 ноября Петр...»

3.

5 ноября 1836 года Пушкин уже отослал вызов Дантесу в связи с получением накануне анонимного письма с посвящением его в историографы Ордена рогоносцев, 5 ноября он уже ждал ответа и решения своей судьбы. Тут же в дело вошел Жуковский со своим искренним, как всегда, и неблагодарным стремлением все уладить в судьбе Пушкина. С этого момента и до трагического конца он в своей переписке становится невольно основным «историографом» дуэли Пушкина, растянувшейся почти на три месяца. Теперь продолжим чтение конспекта Пушкина о последних днях Петра от 14 декабря 1835 года, но параллельно «конспекту» Жуковского о последних днях Пушкина...

## ТЕКСТ ЖУКОВСКОГО

(4-5 ноября 1836 — 29 января 1837 г.)

(По поводу вызова 5 ноября): Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну, я сказал <...> что не застал тебя дома <...> Итак, есть еще возможность все остановить. Реши <...> Но, ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство <...> Он (Геккерн — А.Б.) в отчаянии... сказал: «Я приговорен к гильотине, я взываю к милосердию, если это не удастся — придется взойти на эшафот...»

## ТЕКСТ ПУШКИНА

14-15 декабря 1835 г. (5 ноября 1724 — 28 января 1725 г.)

5 ноября. (Эпизод спасения бота...): Петр на яхте своей прибыл в П.Б. <...> Петр послал на помощь шлюбку <...> Петр гневался, не вытерпел — и поехал сам... Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно. <...> Он не спал целую ночь — и возвратился в П.Б. <...>

В сие время камергер Монс де ля Кроа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. <...> Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим.\* <...>

---

\*Пушкин и раньше «наследовал» эту драму: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» (1830-е). «Он умер очень молод и в заточении, в припадке ревности или сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах» (1830).

Вот, что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: «<...> через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная...» (О 27 января): ...по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку <...> Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. <...>

Он оперся о левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал <...> Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!»

«Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». ...ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил».

Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере, ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою. <...>

26-го утром Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу.

27 дан указ о прощении неявившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть <...> простить...

С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна проходящих <...> Люди всех состояний, знакомые и незнакомые <...> Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число проходящих сделалось наконец так велико...

Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств <...> «Не давайте излишних надежд жене, <...> не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворица <...>» Княгиня\* была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. <...> Она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа.

25-го <...> Церкви были отворены: в них молились за здоровье умирающего Государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок — она не отходила от постели Петра — и не шла спать, как только по его приказанию <...> Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: “После...” Все вышли, повинувшись в последний раз его воле.

---

\*В.Ф. Вяземская



Когда поутру кончились его сильные страдания <.. .> «Жену! позовите жену!» Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать.

Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя.

«Все жене и детям...»

(И. Т. Спасский).

У него спросили: желает ли он исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром. Умиравший исповедался и причастился с глубоким чувством.

Раз он подал руку Далию и, пожимая ее, проговорил: “Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!” Но, очнувшись, он сказал: “Мне было пригрезилось, что

Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою. <...>

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неясных, из коих разобрать можно только сии: “Отдайте все...” перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла — но он уже не мог ничего говорить.

“Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня”. <...> Петр повторил несколько раз: “Верую и уповаю” <...> “Верую, Господи, и исповедую; верую, Госпо-

я с тобой лезу вверх по этим книгам к полкам; высоко... и голова закружилась”. Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Дале-ву руку и, потянув ее, сказал: “Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе”.

Лицо его прояснилось, и он сказал: “Кончена жизнь”. <...> “Жизнь кончена!” — повторил он внятно и положительно.

Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не заметил. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою.

ди: помози моему неверию”, и сие все, что весьма дивно (сказано в рукописи свидетеля), лице к веселию елико мог устроеная, говорил — по сем замолк.

Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января. Петр умер на руках Екатерины.

Трудно с уверенностью сказать что-либо об этих параллелях, кроме того, что они “наводят на мысль”. Абсолютная, не требующая доказательств независимость этих текстов, писанных разными людьми о разных людях, — единственное, что оправдывает сличение. Если эти тексты ничего не знали друг о друге, то один умирающий знал о другом, знал много, долго и точно. Каковы бы ни были страдания Пушкина, сознание его оставалось в высшем смысле ясным. Он не говорил более о каких бы то ни было литературных делах, но думал, чего не успел (“Я бы писал...”). Самая большая незаконченная работа — история Петра. Еще 27 января утром он наверняка над ней работал. 28 января умер Петр, 28 января умирает Пушкин... Этот символ мало что значит, и вряд ли Пушкин мог перегрузить его значением. Но конспект от 14 декабря 1835 года — был.

Во многих отношениях он его поправил и улучшил. Это видно.

## 4.

«...Презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и воззов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона... и М-ше... но и в старинных залах потомков Л... и Л... Жалкий век! Жалкий народ!»

Пародия на геккерновскую историю не состоялась. Отписаться от судьбы Пушкину не удалось.

Оставалась по-прежнему дуэль.

Она — состоялась.

Она известна нам не менее, чем любимая оперная партия. Все в ней было только так — иначе нет мелодии. Не будь Пушкин ранен... убивал ли бы он Дантеса? Пародией разрешиться не могло. Условия дуэли не позволяли промахнуться обоим. Дальше — лежа, в снегу, попал, “Bravo”... кто подставил под пулю пуговицу Дантеса? Мужчина и боец, Пушкин осуществлен до конца: никакой рыхлости, никакого позднейшего налета. Но — не убийца. Стечение, которого ни предусмотреть, ни подыграть нельзя. Пушкин — имя сохраняется жить, жертвуется живой Пушкин. С услужливостью и выгодностью сознания наследников, какого бы мы получили себе Пушкина, кабы судьба ответила Дантесу тем же, чем ему?

Пушкин, лежа, в снегу, отвечал ему тем же.

Судьба — единство жизни и текста, так заботившая Пушкина на протяжении ВСЕЙ его жизни, — свершилась.

Усилие — увенчалось. Сошлось. И вот у нас тот Пушкин, которого мы не только из праздного любопытства рассматриваем уже лишь вместе с биографией: с Лицеум, Натальей Николаевной, Бенкендорфом... ЕДИНЫЙ Пушкин.

Вариантов у этой дуэли нет. Вот его разглядели с Данзасом на набережной... всполошились, нагнали у Черной речки, застигли... скандал, фарс еще больший...

Вот Дантес промахивается — что делать Пушкину?

Или Дантес не ранит, а убивает его наповал... Бедная Наталья Николаевна! Как бы мы теперь обходились с ней!.. Мы бы не сомневались в ее виновности. Вряд ли бы он поблагодарил нас за это. Но он не мог бы и нас вызвать на дуэль...

Вариантов нет. Все фальшивит, кривляется, искажается перспектива — кривое зеркало, укороченные ножки, ускоренные ранним кинематографом несерьезные телодвижения, бу-

мажные куклы, мультик... Это тяжело, одышливо и несерьезно, как сегодняшний день. Это не Пушкин.

Вот все — так же, только нет спасительной для Дантеса пуговицы... Тот же Пушкин и не тот. Не наш это Пушкин. Усилие всей жизни, всего труда, единственное в каждой строке и жесте, становится как бы и не настолько единственным, насколько единственен для нас НАШ Пушкин, поскольку ЦЕЛ, поскольку ВЕСЬ.

Единство жизни и текста может быть обнаружено в любой точке и снова обратиться Судьбою: заяц, мундир, Дантес... Но непоправимо его можно нарушить — лишь в самом конце. Если текст закончен, то он закончен. К нему не припишешь. Не исказит его только точка. Она ставится. Пуля. Пуговица. Это Судьба.

Вариантов у этой дуэли нет не только потому, что у того, что ЕСТЬ, нет вариантов. Даже у сочувствующего судьбе героя Провидения нет выбора между поэтом и человеком. Человек — не считается.

Есть лишь один вариант, единственная возможность счастливого исхода этой дуэли — бессмертность раны Пушкина.

Пушкин физически не только такой же человек, как все, а может, и больше, чем все, человек: ему так же больно, он так же не хочет умирать... но только ли это беспокоит его в настойчивом расспросе докторов: смертельна ли рана?

Его беспокоит не только, а может, сначала, и не столько это. Выбор все еще не окончен! Все тот же труд соединения поэзии и жития — предстоит или не предстоит? Поэтому — благодарность (стольне показная...) докторам за честный ответ, благодарность профессионала профессионалу, мужества за мужество.

Лишь с этого момента все окончательно ясно. Если бы не

ужасные физические страдания, то это почти то же чувство облегчения, что и утром перед дуэлью: решилось — весел!

Текст и жизнь сошлись воедино. Пересеклись. Точка.

Сама жизнь его становится текстом.

Можно верить потрясенному слуху А.И.Тургенева, Жуковского\* и особенно слухача Даля — это точнее стенографии или магнитофона: слова умирающего Пушкина — его слова.\*\*

Пушкин — уже ничего не напишет. Слово стало лишь произносимым. Никого не заподозришь в нарочитом поведении перед смертью, не только Пушкина. Только не Пушкина.

«Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим» (Плетнев).

Жуковский приводит слова доктора Арендта, лучше других представлявшего себе, какую боль испытывал Пушкин:

«Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного».

Барант:

«Как русские в 12 году...» («кто умирать шел мимо нас...»)

Даль советует:

«...Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче».

Он “отвечал отрывисто: «Нет, не надо, жена услышит, и смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил!»».

Смешно... вздор... меня... пересилил...

---

\* Жуковский, как известно, “редактировал” смерть Пушкина в интересах его семьи и посмертной репутации, но лишь в “высочайшем” аспекте. Характерно, что в этих случаях он мало приводит прямой речи Пушкина — больше пересказывает.

\*\* Честные врачи подтверждают, путая лишь порядок слов, для них не столь важный.

Арендт, восхищенный мужеством раненого по сравнению, не мог себе представить, чем оно уравновешено, чем обеспечено. Основная ноша была сброшена. Подъем кончился, и крест внесен. Двойной нагрузки жизни и текста больше не было. Умирая, Пушкин принадлежал уже только жизни. Впервые в жизни.

Подвиг кончился. Осталось уже последнее дело жизни — умереть достойно. Это несравнимо с предыдущим грузом. Смешно... вздор...

МЕНЯ... Пушкина.

Раз уж ТО его не пересилило, то это... «Смешно...»

«Он мучился менее от боли, — пишет Жуковский, — нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову. — Сердце изнывает!»

Что была эта тоска? О чем память? Или чего предчувствие? Это — тайна.

Но все сказанные им слова — последней точности:

«Смерть идет». «Нет; мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо».

«Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее».

«...скажи жене, что все, слава Богу, легко...».

«Я думаю (умереть), по крайней мере, желаю».

«Ну, ничего, слава Богу, все хорошо».

И слова — высшей точности: «Кончена жизнь! Жизнь кончена».

Об этом нельзя писать. Тут не выкрутишься и не уточнишь. Кто мог поставить такую точную точку в конце ВСЕГО? Мало сказать — гений, надо сказать: Пушкин.

Не меньше Петра... Такое соотношение поэта с великим царем в позднейшей мировой литературе возможно лишь в Рос-

сии. Что на что не променял Пушкин, из всех возможностей предпочтя Судьбу, прожив свою жизнь со ссылками, царями, долгами, Третьим отделением, цензурой, невыездом за границу, камер-юнкерством, гибелью друзей, непониманием публики?.. На теоретическую мировую славу (буде оказался в Европе бы...) не разменял он своего мирового значения, достигнутого в России и путем России, — своего рода трон. Насчет “мировой славы” он не заблуждался... Об этом свидетельствует его неоконченная статья «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», предшественница «Последнего из свойственников Иоанны д’Арк». «Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции», — говорит Пушкин и далее обрушивается на В. Гюго и А. де Виньи за то, что они вывели поэта Мильтона шутом (ключевое слово позднего Пушкина).

«Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то возводя их в потолок. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека».

И далее пассаж о возможностях перевода:

«Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежитель-



ный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к предложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит подобный опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, все вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительно-го, своенравного и смелого даже до бессмыслия?»

Многое из сказанного о Мильтоне есть пусть отдаленная, но автохарактеристика, продолженная в той же статье далее, в противопоставленном Гюго Шатобриане:

«...Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. <...> Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. <...>

Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но неподкупной совестью. <...> критика может оказаться строгою к <...> недостаткам столько, сколько ей будет угодно: несомненные красоты, страницы, достойные лучших времен великого писателя, спасут его книгу от пренебрежения читателей <...> Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках <...> которые и составляют истинное достоинство Опыта».

Истинным достоинством опыта обладают и все последние (после «Памятника») тексты Пушкина. Личный опыт никогда не сказывается раньше на его произведениях до такой откровенной степени. Это его признания. Они произносятся и

впрямь на уровне завещания, последнего слова.

Умирал ли он на самом деле в контексте “смерти Петра”, не так и важно. Точно — что Пушкин-человек умер как царь.

В царствовании своем вознесся он, может быть, и не выше Медного Всадника, зато выше Александрийского столпа.

5.

Незадолго до рокового события Пушкин рассказывал кому-то, что все важнейшие события его жизни связаны с днем Вознесения. Он имел даже намерение выстроить в Михайловском церковь во имя этого дня. Он считал, что совпадения эти недаром и не могли быть делом одного случая.

Он родился в день Вознесения, венчался в церкви Вознесения, и помолвка, и рождение первенца Маши падают на этот день, последний Гриша родился чуть раньше, но видит его Пушкин по приезде из Пскова в этот день... прибытие в ссылку в 1820 году и прошение об освобождении (которое наконец было удовлетворено) в 1826-м... выход в свет «Цыган»... “по-бег” в Арзум... Но, по-видимому, более на эти дни упало событий глубинных, внутренних, которым сам Пушкин придавал значение и которые мы проследить в точности не можем.

Смерть его случилась задолго до весенних этих дней.

Но за 3/4 часа до смерти видится подъем, круча, та самая по житиям известная “лестница”...\*

Он зовет Даля:

— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем.

— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим кни-

---

\*По этой “лестнице” Пушкин поднялся выше книг и выше литературы, а усердный и честный Даль буквально принял призыв и еще долго карабкался вверх по полкам, пока не воздвиг пирамиду русской речи...

гам и полкам высоко — и голова закружилась.

— Кто это, ты?

— Что это, я не мог тебя узнать.

— Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!

— Кончена жизнь!

— Жизнь кончена.

Но это был еще не конец...

«Я смотрел внимательно, — пишет Жуковский, — ждал последнего вздоха; но я его не приметил. <.. > Так тихо, так таинственно удалась душа его».

Далее следует поразительная страница описания лица поэта.

Жуковский остается с ним один на один.

«...руки <...> как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда».

«Мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» «...никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».

Эта страница письма отцу поэта есть точная прозаическая копия известного его стихотворения на смерть Пушкина; на наш взгляд, самого нежного поэтического отклика на смерть Пушкина:

Он лежал без движения, как будто по тяжелой работе  
Руки свои опустив...

Но у Пушкина уже был близкий образ... В стихотворении «Труд» (1830):

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,  
Плату принявший свою...

Момент послесмертия Пушкина, так точно “зарисованный” Жуковским, тут же переходит в Бессмертие.

Начинаются таинственные, вовсе не до такой степени оправданные опасениями Третьего отделения, перемещения мертвого поэта, начинается музей...

А.И. Тургенев, сопровождавший тело Пушкина, пишет в дневнике:

«6 февраля. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез <...> и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское <...> Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его...».

Только сровнялась могила Пушкина — и первая экскурсия по “памятным местам” — залог нынешнего заповедника.

Пушкин не оставил нам прощального стихотворения. Это за него сделал Лермонтов, открыв свою собственную поэтическую Судьбу. Он не ведал о существовании пушкинского «Памятника» и возвел ему свой... Кончились школьные переложения из учителя, сколь бы вдохновенны они ни были (большинство поэм до 1837-го). Лермонтовское «Смерть поэта» все зиждется на реминисценциях из поэта оплакиваемого (VI глава «Евгения Онегана», «Андрей Шень»...) —поверхностного параллельного чтения VI главы и «Смерти поэта» достаточно, чтобы в этом не усомниться. “Хладнокровно — ровно”, “убит!”, “увял” — Лермонтов сам отсылает нас к Ленскому, воспетому

“им с такою чудной силой”, — но, именно при столь прямых заимствованиях, сколь напоено стихотворение Лермонтова внезапной и самостоятельной поэтической силой! И «Памятник» Пушкина, который потомки постепенно назначили “завещательным” стихотворением за неимением такового, и «Смерть поэта» Лермонтова — одинаково сложены, скроены из предыдущих стихов и мотивов Александра Сергеевича, но пушкинское, будучи “про себя”, этим же и сковано, так и осталось сложным из “блоков”, а лермонтовское — сплавлено великим чувством, энергией новорожденного гения. Оно воспламенено тем чувством, которое возможно выражать лишь в отношении другого, не в отношении себя.

В сознании общества рождается Лермонтов, чтобы метеором выгореть в его плотных слоях. Гоголю — не для кого больше писать: “Моя утрата всех больше. <...> Что труд мой? Что теперь жизнь моя?”

Пушкинская эпоха кончалась еще раньше его гибели. Он ее длил титанически, как мог. С его смертью она кончилась, так, будто она была один человек. В огромной степени это так и было.

Благодаря Пушкину его эпоха для нас и умнее, и осмысленнее себя. Она сдвинута на его гений. События ее доходят до нас уже в его оценке и окраске, хотя оценка эта, в свое-то время, была уникальна, или опережающая, или нехарактерна, то есть была современной лишь в своей точности и качестве, но не в присущести ни современности, ни эпохе.

Пушкин вобрал в свой контекст не только Языкова, Вяземского и Баратынского (поэтов, так или иначе с ним что-то в поэзии “деливших”), но почти что и декабристов с Чаадаевым (всегда имевших к Пушкину свой счет и свою претензию). Лермонтов отделился разве и то после Пушкина... Смирдин и

Плетнев, Булгарин и Греч, Бенкендорф и Дубельт, да и сами Александр и Николай — всего лишь спутники с его орбиты. И все эти сестры, кузины, княжны... С чего бы нам знать, что был такой добрый генерал Инзов, в какой другой эпохе знаем мы генерала, с которым имел дело, скажем, даже Лев Толстой? Казалось бы, ближе и понятней нам?

В какой мере вобрал, а в какой создал?.. Читая переписку, чаще всего поражаешься его снисходительности. Сам будучи мальчиком, он разговаривает и со взрослыми, как с детьми. Не обижаясь на их бессмысленные суждения, он старается не задеть их возражением (показательна его переписка с друзьями-литераторами). Его идеалы дружества всегда в работе: он собирает, соединяет круг, как бы круг этот, в свою очередь, не разъединял его с собою... Это одиночество; есть доля разочарования в друзьях по духу Музам и т. п., в не смущенном ничем пристрастии к писателям Пушкину или Нащокину.

И еще, он — щедрее. Пока современники выцеживали и взвешивали свою оценку, боясь передать (особенно в последние его годы), это он писал о Баратынском, а не Баратынский о нем, это он дал сюжеты Гоголю, это он опубликовал Тютчева (хотя, возможно, и не оценил его в должной мере)... Это даже так, что он своей смертью уступил место Лермонтову, дав и ему взойти на его краткий срок, дав недолго посветить и его сумрачному светилу (два солнца вместе не сверкают...).

И какой бы еще человек выдержал столь пристальное рассмотрение нации на протяжении полутора веков столь бурной и переменчивой отечественной истории?

А природоохранная функция поэта — сохранность усадеб и пейзажей, уцелевших или даже возрожденных из праха лишь силой его имени? Он остановил вокруг себя время, оно застыло, он один населяет его. Силой своего имени он пере-

плел одну из наиболее сохранившихся красных книг времени — пушкинскую эпоху.

В какой мере равнялся Пушкин на Петра? Трудно “переходить на личности”, легко впасть... Но вот мы говорим: пушкинская эпоха с не меньшим основанием, чем эпоха петровская.

Пушкин ни в чем не устарел до сего дня, он читается, может, и с новым, но никак не с меньшим восторгом: он — живой. Но вот то и любопытно, что при этом влияние его на саму русскую жизнь куда значительнее, чем влияние на последовавшую русскую поэзию.

Два крестьянина сказали, в его и в наше время, по-мужицки точно: «Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету!...» (Кольцов, 1837).

«Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было. Нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Постичь Пушкина — это уже надо иметь талант» (Есенин, 1924). Кратко и ясно.

Это сейчас мы изрыли пушкинскую эпоху своими ходами. Со смертью Пушкина никто еще не знал, что это — эпоха. После лермонтовского стихотворения, после шока посмертного номера «Современника» (“кто был и кого потеряли...”) эпоха провалилась в небытие и забытье надолго. Забылось даже, какого он был роста (от 155 до 167), был ли он красив или похож на обезьяну, курил или не курил, ВСЕ ли он написал или не ВСЕ, скверный был характер или легкий, до сих пор не могут разобраться с Натальей Николаевной... забылось, и все умерли. Спросить некого. Остались (все сходятся в воспоминаниях) — улыбка ослепительная и смех “до кишок”. Стихи остались. Даже место, где пролилась его кровь у Черной речки, через 20 лет участник дуэли Данзас находил с трудом (“кустарника этого мы уже не нашли, он вырублен, и земля разделена”). По-

казания разошлись: слева или справа от дороги? И обелиск на месте дуэли, у которого мы скорбим, возможно, вовсе не там, и мы его крови не топчем...

Но какого красного цвета эти белые январские дни его смерти!

Помнил ли Пушкин, что умирает вместе с Петром... но Достоевский, сказавший свою “тронную” пушкинскую речь за полгода до смерти, готовящийся к выступлению по поводу дня смерти Пушкина и умирающий в тот же день, — точно, что знает об этом!

И вот Блок, «Записная книжка», 1918 год...

27 января. «Двенадцать»

28 января. «ДВЕНАДЦАТЬ»

29 января... «Сегодня я — гений».

«Бывают странные сближения»...

«Скифы» соответствуют «Клеветникам России».

Случаются повторения в истории” (Блок. Дневник. 21/8 февраля 1918 года).

«Чуть было не поссорился я со двором <...> Однако это мне не пройдет» (Пушкин. Дневник. 22 июля 1834 года).

«...ты слишком неосторожно берешь иные ноты.

Помни — тебе не «простят» «никогда» (Белый — Блоку, 17 марта 1918 года).

«Доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит...»

Блоку — 37 лет. «Двенадцать» — это дуэль, в которой он погибнет.

Красное и белое. Кровь на снегу.



## VI.

### *Поведение как поведение*

#### 1. ЧЕЛОВЕК ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

Нарисованный разговор

— Значит, аристократия и интеллигенция — это не тождество?

— Совершенно нет. Да-да-да. Можно и в шестой части Бархатной книги быть записанным, и быть совершенным хамом.

— А вы в какой?

— Я, наверное, служилое дворянство. Не берусь даже вам сказать, в какой. Потому что никакой претензии на аристократичность в семье не было... Есть род Волковых, которые из самых древних в Бархатной книге, — бояре Волковы были, так же как Романовы, шесть-семь таких старых родов. Но я к ним отношения не имею. Со стороны матери у меня более, так сказать... есть адмирал XVIII века...

— А материнская фамилия?

— Лазарева. Династия целая.

— Тот самый мореплаватель Лазарев?

— Да. Тот самый мореплаватель. Он мой прадед. И я бы был моряком, если бы не слабое зрение. Был близорук, поэтому в Морской корпус не приняли...

— Олег Васильевич, это мое первое интервью. Не знаю, с какого конца взяться, и тут же прекращается сытая писательская ирония над журналистами. Нет другого пути начать разговор, как объяснить вам же, кто вы такой. За это время вы, как всегда, сумеете сохранить достоинство, а я успею его растерять. Вы, Олег Васильевич, — уникальный экземпляр рода человеческого... Вы кому угодно сегодня покажетесь не просто человеком редчайших достоинств, а — преувеличением. Всякий, кто впервые увидит вас и соединит ваш облик и повадку с наслышкой о вашей судьбе, воскликнет, как тот персонаж из анекдота: «Не может быть!» В этом восхищении есть своего рода отказ: мол, исключительное исключение, как раз и не подтверждающее правило. Что-то вроде улыбки, даже усмешки, пусть и счастливой. Не сразу и заметишь, что улыбка эта — от смущения. Потому что не мы — правило, а вы. Потому что не вы преувеличение и исключение, а мы с нашим большинством. Потому что вы — не мы. Для меня вы человек нормы, нормальный человек. Просто норма стала уникальным явлением. Надо сказать, образ ваш заслоняет для многих и то, что вы пишете, и как вы пишете. Мне кажется, однако, что для вас последнее важнее. Вы современный писатель. Так вот, мне нравится (как человеку, многократно обвиненному в формализме), как вы пишете. Как употребляете слова. Как их ставите. У вас и на бумаге слова грассируют, как в жизни. Вот мы встретились в Союзе писателей, у «парадного подъезда», по вашему выражению. Вы так сказали про одного нашего секретаря: «Вам не кажется, Андрей Георгиевич, что он очень падший человек?» Ну

разве не смешно? Не смешно — именно так: падший. В другой раз я читаю у вас про собачек, что они не стали хуже с тех, дореволюционных пор; та же порода и то же старание, просто у них нет той возможности приобрести практику, потому что дичи той нет... «Мои друзья пойнтеры» — так, кажется, называлось ваше эссе?

— Да. «Мои фавориты». Или «Мои любимцы»...

— Значит, не «друзья»... Перевод с французского. Вы ведь начинали как переводчик?

— Да, я переводил и на французский, и с французского, и на английский я переводил.

— Это то, что досталось вам в наследство. Единственное не разоренное наследство?

— Единственное мое богатство.

— Парадоксально, Олег Васильевич, но мы ведь с вами в некотором смысле одноклассники. Вы начали писать прозу тогда же, когда и я: каких-нибудь тридцать с небольшим лет назад. И вот я читаю у «молодого прозаика», в той же очаровательной прозе о собачках, первое же предложение: «Судя по тому, что первого пойнтера, которого я помню, звали Банзай, воспоминания эти можно отнести к 1904 году — русско-японская война...»

— Я, конечно, пережил три революции — всего уже, выходит, за свою жизнь. Первую — совершенно в младенческом возрасте, но сохранились у меня отдельные яркие воспоминания о Петербурге, охваченном революцией пятого года. Это были казачьи разезды, патрулировавшие улицы, гревшиеся у костров солдаты и другие там военные... И нянюшка, уволакивающая меня от этих в сторону, от костров с казаками, и говорящая, объясняющая мне, что вот они приехали нас защищать от тех, кто задумал царя-батюшку погубить. Такие были у нее коммен-

тарии к этому делу. Ну, еще я помню гласность того времени. Потому что потом было немало случаев сравнивать гласность ту и нашу обожаемую гласность. Тогда выходили все журналы всех направлений, и в газеты можно было писать что угодно — это в шестом, седьмом годах. И тогда были даже карикатуры на царя... Это все так ярко запомнилось. Ну, выключили свет, отсутствие воды — вот так. В деревне у нас было тихо, поэтому усадьба не пострадала от... Там кое-где были подожженные усадьбы, но у нас все обошлось благополучно.

(Благополучно... Вы заметили эту эпическую интонацию очевидца? Пережившие историю в полной мере никогда не преувеличивают и не пугают. Я воспользуюсь сейчас плавным временем его повествования о следующих революциях, чтобы набормотать в скобках о нем самом ту самую информацию, которую так глупо заключать в форме вопроса интервьюируемому... Поводом для нашей беседы явился факт выхода в Советском Союзе его книги «Погружение во тьму», главного его сочинения, так сказать, книги всей жизни, среди прочих примечательных его произведений. Книга эта полноправно встанет в ряд с произведениями великих писателей лагерной темы — Шаламова, Солженицына, Домбровского и существенно от них отличается. Будучи по жанру документальной, мемуарно-публицистической, она читается как роман, она и есть идеальный автобиографический роман. Романом ее делает наличие героя. Даже у такого блестящего романиста, как Домбровский, его герой отчасти «пропадает» в обстоятельствах камеры, допроса и лагеря. «Материал подавляет» — пропасть между этикой и эстетикой, дорытая нашим временем, становится проблемой для художника-повествователя: герой не только гибнет, но и расплывается в тени отнюдь не кафкианской, а реальной лагерной машины. У Волкова, казалось бы, куда менее белле-

тристически искушенного, его герой, чудесно порожденный Волковым-человеком и Волковым-повествователем и чудесно же от них отделившийся, сопровождает вас до конца книги, ни в чем не утрачивая, ни в духе, ни во плоти, и вы увлеченно следите за перипетиями человека, а не за ужасающими обстоятельствами лагерной системы. И будто вы читаете «Робинзона Крузо», а не «Мертвый дом». Кстати, автор «Мертвого дома», будучи первым, первым же наметил очертания острога как острова, необитаемого для благородного каторжанина, уподобил его Робинзону. И если Солженицыну принадлежит бесспорная честь осмысления системы островов как Архипелага, то Волкову — честь создания Нового Робинзона, выкинутого на берега его... Вам предстоит ужас и наслаждение при чтении этой робинзонады, и у меня здесь нет ни пространства, ни желания предварить это впечатление, хотя сама беседа и затеяна ради «паблисити». Из четырех часов нашей беседы я выкину здесь все существенное, о чем вам лучше самим прочесть, оставив лишь самое косвенное — легкую и внешнюю попытку портрета...)

— Так где же было поместье вашего отца?..

— Это в Тверской губернии, в Новоторжском уезде, в тринадцати верстах от Торжка-города. Мы ежегодно весной отправлялись туда и возвращались к осени, к открытию учебного года. Ну, иногда это перемежалось с поездками за границу, на воды куда-нибудь, на Средиземное море. Тогда как-то наши курорты еще не были в моде... Тем более что у моего деда была вилла в Ницце, поэтому мы туда ездили постоянно. Недолго, впрочем... Но русскую деревню я стал знать уже с самого раннего детства. И это, конечно, оставило следы на всю жизнь: я всегда любил именно нашу среднерусскую природу, и в разные горькие минуты она была для меня и утешением; когда я был

в сибирской ссылке, на Соловках, на Севере — всегда было хорошо от скверных условий перейти к созерцанию какой-то светящейся жизнью природы, которая вдохновляла.

— Тогда же вы и охотничьей страстью заболели?

— Да. Потому что отец мой, одолеваемый толстовской поведью, сделался вегетарианцем и свою охоту ликвидировал, но он смотрел, когда мы подрастали, его сыновья, чтобы у нас были ружья, собаки, и, так сказать, егеря к нам приставил, чтобы мы приобщились к этому. Потому что в душе он оставался, конечно, охотником.

— Мы — это ваш брат-близнец?

— Всеволод, да. Нас было вообще-то много: пять братьев и две сестры... Всеволод погиб на войне, в сорок третьем году. Старший брат умер в самый первый год революции, просто от менингита, а младшего брата убили, расстреляли в мурманских лагерях; он там был, когда началась финская война и финны перерезали дорогу железную, эвакуировать лагерь было нельзя, и поэтому очень много народу перестреляли...

— Получается четыре. А пятый?

— Потом был еще брат Андрей. У него как-то жизнь прошла благополучно. Он кончил институт технический и был инженером, и всю жизнь так как-то вот его миновало...

— Всеволод до войны тоже сидел?

— Долгое время я один представлял нашу семью в органах. А потом кончилось тем, что Всеволода тоже арестовали, и он пять лет трубил в воркутинских лагерях, кончил накануне войны свой срок и настоял на том, чтобы его взяли все-таки в армию, мобилизовали, потому что лагерников не брали в армию. И очень скоро погиб под Волховом...

— Вы ведь и сами как-то чудесно оттрубили свой третий... третий срок так, что вас выпустили чуть не за день до объяв-

ления войны, а на следующий день вышел приказ никого из лагерей не выпускать...

— Ну, я тогда был уже расконвоированный, работал с геологами, тайгу местную хорошо знал, прослышал про указ и подался в леса, меня никто найти не мог, жил охотой...

— Но вас нашли?

— Нашли уже зимой.

— Я хорошо помню это невыносимое место вашей книги. Полярная ночь, глушь, ни электричества, ни телефона, ни дог — и милиционер в розвальнях прямо к вашему домику прикрипел... Вы знаете, кто наступал?

— Нет. Ума не приложу...

— Вот и меня, когда читал, донимало: кто? а главное — как? Ведь никакой связи. И народ все свой — охотник...

— Там и власти, почитай, советской не было.

— А милиционер, однако, приехал. Вот что это такое?.. Не с этим ли мы имеем нынче дело, когда требуется инициатива, смелость, работоспособность, а предприимчивость у нас по-прежнему одна: зависть и желание укоротить всякого, кто отличается, — мол, не высывайся, не при поперек народа, чем ты лучше других?

— Народ подменен, конечно, людьми бессовестными и дерзкими. И алчными.

— Это было с вами в сорок втором, а сейчас? Сейчас, когда народ нуждается в самом себе как никогда? Когда вот уже четыре года прошло нашего нового, обнадеживающего времени? Как он быстро отдалился — восемьдесят пятый... вот уже восемьдесят девятый на исходе. Четыре года — это уже история, и они могут стать упущенным временем. Что же теперь-то обещивает вашу, мою, нашу веру в себя, в народ, в будущее?

— Безвыходность.

— Кроме безвыходности?

— Безвыходность.

— Безвыходность нас заставляет верить?

— Да, заставляет. Да. Мы развязали языки, но это не значит, что мы развязали свободу деятельности человека, свободу избирать поле работы, которое он хочет. Создать ему другие условия — это ведь мы не торопимся сделать. И наоборот, чувствуется, что хочется будто новые одежды надеть, а сущность оставить ту же самую. Я не верю в плодотворность этих кустарных, маленьких, я бы сказал даже, отчасти лицемерных попыток возродить какую-то там аренду и так далее. Тут может быть только откровенное признание провала марксистских теорий, и надо переворачивать страницу. Надо опять переходить на испытанные хозяйственно-экономические структуры, которые позволяют и прогресс, и уравнивают до какой-то степени расположение людей. Во всяком случае, без этой нищеты и унижения в очередях, которые мы уже, слава Богу, сколько лет терпим. Я думаю, это самое главное. Потому что нельзя больше, надо отказаться от попыток опять еще дальше говорить о каких-то плюсах социализма. Их нет нигде. Да и не было. Что такое социализм — никто даже по-настоящему сказать не может. Я объясняю так, что бедствия Первой мировой войны каким-то образом укрепили положение радикальных партий. И чем, так сказать, революционнее звучали призывы, тем они пользовались большей популярностью. Потому что лишения были велики, испытания невиданные, и люди перестали верить в существующие порядки. На Западе власть крайним партиям все-таки не дали. Там ведь были и Спартаки, восстания... Коммунисты, скажем, в той же Франции едва не подошли к власти, но потом от них отошли, а у нас на эту удочку клюнули. У них народ был просвещеннее, больше понимал, а главное, сильна



очень была роль церкви, католической церкви. И безбожье не могло там так легко восторжествовать. У нас же именно из-за того, что народ был еще полуграмотен, что у нас церковь тоже перестала пользоваться уважением и авторитетом, которые она растеряла за последние столетия, и клюнули на эти обещания: земля — ваша, и все другие лозунги...

(Мы углубились в дебри, я по неопытности не заметил, как у меня в очередной раз кончилась пленка. И на следующий день пришлось возвращаться на круги своя...)

— В том же эссе о пойнтерах... простите, Олег Васильевич, что я избегаю разговора о той книге, которую пытаюсь рекламировать. Все-таки застой стимулировал форму..

— Иносказание...

— Скажем так. Но на нескольких страницах о собачках, где ни слова нельзя было сказать ни о Сталине, ни об арестах, ни о лагерях, вам удалось сообщить необыкновенно много. Перечисляя «любимцев», начиная с Банзая, вы приходите вскоре к необыкновенно изящной мимоцензурной фразе, что-то вроде: «Но в двадцать седьмом году мои охоты вынужденно прекратились, и в течение тридцати лет я не имел возможности заводить собак».

— Не в двадцать седьмом, а в двадцать восьмом. Меня арестовали в феврале двадцать восьмого.

— Тоже подъехали на пролетке, если не ошибаюсь?

— Нет, это я ехал на пролетке, а они подъехали в «эмке». Это было у греческого посольства. Я там подрабатывал переводами.

— Края сходятся. Вас арестовали за то же ваше богатство — за язык. Причем не за длинный, а за иностранный. За происхождение.

— Да, в общем, за это.

— Вы побывали на Соловках дважды — тогда и еще раз, уже в тридцать втором. Помню, когда я побывал на Соловках в восьмидесятом и рассказывал вам о впечатлениях, вы сказали, что никогда не навестите больше эти места... Не сможете...

— Год тому назад я был на Соловках. Меня пригласило телевидение, и я там был и показывал места, рассказывал о том, что и где запомнилось... но самое страшное место, которое, я думал, что уцелело, не сохранилось. Потому что возле кремлевской стены, где происходил в двадцать девятом массовый расстрел, располагались монастырское еще, старинное, многовековое кладбище и церковь Святого Онуфрия — все это снесли, разровняли и построили тут какие-то бараки, какие-то дома. Так что самое-то место и не уцелело...

— Вас реабилитировали в пятьдесят шестом?

— Реабилитация пришла в пятьдесят пятом году, в один из весенних месяцев. Когда я вернулся в Москву, был май или июнь...

— Значит, получается двадцать восемь лет. На десять лет больше, чем у Монте-Кристо.

— Двадцать семь с месяцами. А может быть, чуть больше. Что это вы — то Робинзон, то Монте-Кристо?

— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Расскажите, пожалуйста, что было между сроками, в ссылках... была передышка? погулять на воле удавалось?

— Нет. Погулять не приходилось. Это только вначале...

— Между Соловками и Соловками? У Толстого?

— У Толстого, да. Это было самое мягкое, так сказать, время. С запретом жить в шести городах Союза. Я выбрал Тулу, там еще была Александра Львовна жива, и она меня действительно поселила в деревне, против пруда усадебного. Потом второй раз перерыв между лагерями и тюрьмами — был я сослан уже в

Архангельск, — а уже потом пошли сплошняком. Уже лагеря. Впрочем, длительное время я был в ссылке краснойрской, на Енисее, в селе Ярцево. Вот тут мои охотничьи познания и привычки помогли: я жил тем, что промышлял белку и ондатру. Мне далеко не сразу дали пользоваться ружьем, поэтому я охотился с капканами, с разными западнями хитрыми. А потом мне разрешили, и я уже нормально белковал и добывал ондатру.

— Это какие уже были годы?

— Послевоенные. Я досидел там до смерти Сталина, до пятьдесят третьего.

— И вам разрешили ружье?.. А помните уже наше с вами время, Олег Васильевич, лет этак через тридцать, восемьдесят третий, восемьдесят четвертый... когда у вас ружье отобрали?

— Да, это был какой-то отклик... Уже вжившись в спокойную свою, мирную московскую жизнь, я испытал такое очень неприятное чувство, когда ко мне пришла милиция и сказала, что ружье охотничье у меня... и у меня его отобрали. Сказали, что вышло постановление изъять оружие у всех сидевших. Я предъявил свои реабилитации... это не произвело впечатления.

— После этого случая вы их застеклили? Знаю, вы канцелярию не любите, все ненужные бумажки рвете. Вот недавно билет из Швейцарии порвали, а он вам для отчета был нужен... А как-то прихожу к вам, может быть, это было ваше восьмидесятипятителетие, и вижу все ваши реабилитации в рамке, под стеклом, как в красном уголке, такая рамка...

— Да, это мне племянник к юбилею постарался...

— Как почетная грамота, как диплом — лагерные фотографии и реабилитации, штук шесть...

— Пять. Фотографии не помню, но там пять документов.

— Я думал, шесть...

— Пять. О реабилитации, да. Это была для самолюбия трудная история, но потом, поскольку сам начальник НКВД города Москвы извинялся передо мной и ружье мне принесли эти же милиционеры домой, то я, так сказать, подзабыл это, этот последний, так сказать, резонанс...

(Мне кажется, я точнее помню эту историю... Я никогда не видел Олега Васильевича таким, как в тот день, когда у него отняли ружье. Я могу лишь гадать, что значит оно для охотника, но символику этого оскорбления человеческого, мужского, дворянского, наконец, достоинства представить себе нетрудно. Олег Васильевич тогда только что перенес тяжелую операцию и еще один раз в жизни выдюжил, выкарабкался. Но ходить ему еще было нельзя, а тут — ружье... и он пошел все к тому же «парадному подъезду», к начальству, какое у нас есть, в Союзе писателей. Для начальства это был приятный случай: не машина, не квартира, не дача — одно лишь проявление гуманности с возможностью употребить всех подчиненных по цепочке. О, эта гуманность, обеспеченная нашими необъятными залежами! — валюта начальства — можно не сделать что-либо, а «поправить ошибку». И возвращали ружье не совсем так, как обещали. Позвонили и сказали: «Заберите ваше ружье!» — «Нет, голубчики, — сказал охотник Волков, — вы забирали, вы и принесите». В общем, не враз он его получил. Но раз «сам начальник НКВД», то что ж мелочиться — победная вышла история. Но и не такой уже первый или последний был этот резонанс былого).

Одна из страшных вещей нашей — а может, и вообще — жизни, которую я лучше знаю, пока что глядя на других, а не на себя, это то, что мужество человеку требуется на протяжении всей жизни без передышки. Не бывает, не будет такого момента, что вот, наконец, кончено. И голод кончился, и война кончилась, кончились посадки, кончились смерти... в этот мо-

мент человек перестает ждать удара, и это момент, когда он, все выдержав, сдается — значит, выдержки не хватило. Вы прочтете в книге Волкова о доходах 43-го года — Солженицын ссылается в «Гулаге» на его рассказ. Это невозможно читать. Человек списан, как шлак, как ветошь, и свобода для него — смертный приговор. Не так это просто и когда вас наградят медалью «За трудовое отличие» или пригласят участвовать в субботнике... «Трудовое отличие я имею сполна, да и субботники ваши все уже отработал», — отрежет Олег Васильевич.

И настолько таких, как Волков, в России уже у нас не осталось, что было ему в этих случаях снисхождение. Но — в пределах. Скажем, единственным членом Союза писателей, выступившим в защиту участников «Метрополя», несмотря на полное расхождение в литературном вкусе, был Волков. Наказали: «Избранного» к восьмидесятилетию он на этом лишился. Или собрался в Париж — засомневались в здоровье, заботливо так: как-никак возраст... Собрал Волков все подтверждения отменного своего здоровья — тогда потребовался военный билет — «вы что, не знаете, где я все это время пребывал?!» Знаем, знаем, нужен билет. «Да что такое, Господи! При царе-батюшке дашь дворнику пять рублей, и он тебе заграничный паспорт принесет». Сказал



— как съездил за границу.

Так что в этой жизни никогда нельзя сказать, что все конечно... чтобы не задавать потом обиженный вопрос: «За что?»

— Замечательный это вопрос, до сих пор его задают. А мне уже и следователи его не задавали. Вызвали меня в последний раз и сказали: мы вас ни в чем не обвиняем, но вы уже сидели и вы называетесь повторником. Поэтому вас оставить в европейской части не можем. Мы вас или зашлем в лагерь, или дальнюю ссылку получите. И тогда мне сначала дали десять лет лагеря, но очень скоро, только этап доехал до Красноярска, мне там, в тюрьме, на пересылке, пришел приговор: вместо лагеря — десять лет ссылки. Такое чудо тоже случилось. Я считаю, что десница Божия меня спасала. Выдержал ли бы я то, что выдержал тот же Шаламов? Не уверен, не знаю. Потому что ту глубину унижения, лишений, которые ему довелось на Колыме испытать... конечно, мне не приходилось. Меня не били никогда — нет у меня ни одного воспоминания. Ну, угрожали застрелить, это все было. А ему перебили барабанные перепонки... Это я такого не испытывал. Но он написал хорошо. Я пытался его «Колымские рассказы» рекомендовать «Советскому писателю» еще пятнадцать лет назад, но тогда, конечно...

— А сейчас они выходят уже.

— Сейчас выходят. Я знаю. Он умер, бедняга.

(Как-то, находясь в благодушном настроении, Олег Васильевич спросил меня: «Вы ведь не сидели, Андрей Георгиевич?» Жестокий вопрос, я застыдился. «Это очень хорошо, — утешил он меня. — Но вообще-то лет пять посидеть человеку полезно, особенно писателю... — Он задумался надолго. — Ну, даже десять еще можно... — И он опять надолго погрузился в расчеты. — Но пятнадцать — это максимум, — подвел он итог. — Больше пятнадцати невозможно». И вот как он пояснил мне эту невоз-

возможность: «Очень трудно потом начинать жить и работать».

С 55-го до сего дня Олег Васильевич — работает. Не покладая рук, без «зачетов». Бойтся не успеть. Темы у него все лишь актуальные и злободневные: леса, реки, озера, зверь, птица, храмы, деревня, пьянство... Он работает, работает, предупреждает, вызывает — а они все гибнут, гибнут...).

Понятно, что я столько лет был в тайге, видел, как ее разоряют. Сам участвовал в этом на лесоповале. Поэтому я уже очень горячо выступал за лес. Потому что как же его уничтожают быстро! И потом еще в одном убедила меня эта моя экологическая деятельность: что никакие постановления вообще не выполняются. Нельзя уже считать, что они принесут пользу. Ведь сколько было, например, хороших постановлений о Байкале! Целые стопы. Об этом еще тридцать лет назад говорилось. Обещают много, и выносятся постановления — они ни для кого не обязательны. А даже, и это очень важно в таких делах, в самих законах делаются оговорки, разрешающие в отдельных случаях нарушать природоохранные законы. И это так и делается.

— Сплошной отдельный случай?

— Да. Пишется телеграмма — горит экспортный план, разрешите дополнительно пятьдесят тысяч кубов кедр! Ах вы, такие-сякие, ну ладно, раз уже экспорт горит. Дайте им. Ладно, пусть сто тысяч.

— Олег Васильевич, пора кончать, а ничего-то я вас не спросил, что хотел.

— Что же вы хотели меня еще спросить?

— Да что-нибудь такое, полегче... Ну, что такое цивилизация?

— Это когда человек понимает, то есть победил в себе эгоизм.

— Тогда — что такое общество? Просто нормальное, здоровое общество?

— Общество — это где люди признают права соседей на жизнь, на все блага и почитают невозможным насилие применять для того, чтобы перевести в свою веру...

— А что же тогда интеллигенция?

— Я, может быть, не много могу сказать... не совсем полно. Это, конечно, прежде всего внутренняя порядочность в людях.

— Что, только это?

— Да.

— Независимо от классового и образовательного ценза?

— Нет-нет. Я встречал именно интеллигентных крестьян и совершенных хамов в аристократических кругах.

— А Флоренского на Соловках вы встречали?

— Нет. Он был после меня привезен. У меня даже ошибка в книге вышла, я ее потом поправил. Одно время духовенства на Соловках скопилось очень много. Был у меня там знакомый, очень близкий, член Государственной думы, священник Митроцкий такой. С ним постоянно встречался, и как-то, когда мы в скверике в перерыв отдыхали, он разговаривал с человеком в монашеском подряснике, с кожаным таким поясом, и они обсуждали книгу «Столп и утверждение истины». Поэтому я подумал, что человек этот Флоренский и есть. Но, наверное, я ошибся...

(Такой человек Олег Васильевич — лишнего себе не припишет. Вот тут-то я и вспомню — в любимом порядке, сводя конец к началу, — как я с ним познакомился. Было это в пышной, майской Молдавии, в пышное застойное время, на пышном советско-финском симпозиуме, пышно поименованном международным, в то пышное застойное и невъездное время, двенадцать лет тому... Принимали нас! Мы вплавь преодолевали цековские подвальные вина. Все это роскошество как-то сатирически оттеняло аскетизм нашей темы — «Писатель и при-



рода». Но все это можно было в буквальном смысле «скушать», кабы не затесался между нами и изо всех сил трезвящимися финнами—Олег Васильевич Волков, брезговавший пить и курить, поражавший красотой, бородой, выправкой, произношением, — двухметровый семидесятивосьмилетний — старик не скажешь, но и мужик не скажешь, — был он и старше и моложе нас всех, — господин, образчик породы человеческой. Не знали мы еще, что тридцать лет ему в зачет пошло, что скостил их ему Господь. Шутили: «Волкова надо записать в Красную книгу!» Поглядывал он на нас, изо всех сил смиряясь и не осуждая. Меня общения удостоил. То да се, я вдруг Набокова помянул. Тогда он еще жив был, помирал. «Набоков? — хладнокровно удивился Волков. — Я же его очень хорошо знал. Мы с ним в одном классе в Тенишевском учились. В теннис он хорошо играл. Мы с ним много играли. Он и тогда был чудовищный сноб». Что-то треснуло подо мной вроде тверди — хлябь разверзлась, и провалился я с головой в эту трещину российской истории. Одноклассники... Одного класса... Это значит, что же?.. Набоков пишет в те же годы, что Волков сидит? Один — от «Машеньки» до «Лолиты», другой — от звонка до звонка. По два романа на одну реабилитацию. Нет, господа, вы как хотите, а я не могу... Если уж мы шутим про Красную книгу, то надо помнить, что она не просто красного цвета или красного, запретительного света, но — кровавая).

## VI.

# *Смерть как текст*

### 1. ЯСНОСТЬ БЕССМЕРТИЯ

Во-вторых, это именно он ничего не забыл...

«...и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штук в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно...»

Человек, который наделил этим переживанием одного из своих героев, запомнил и запечатлел такое количество «штучек» и их расположений, что является бесспорным рекордсменом мира по этому виду памяти. Обладая той памятью, которой я обладаю, то есть вообще плохой, но еще и ухудшенной образом жизни и историей, проведенной на моих глазах беспримерный геноцид деталей, странно браться за воспоминания о нем.

Впрочем, не надо путать память с воображением, так же как воображение с фантазией. Память и фантазия противостоят друг дружке — по сторонам реальности. Воображение и есть реальность. Поэтому реальность никуда не девается, не пропадает в прошлом, не исчезает в будущем. Бессмертие невообразимо, воображение — бессмертно.

В-третьих, весной 1999 года, когда (в который раз!) возрождающуюся Россию охватил тошнотворный вал всеобщей обязательной подготовки к пушкинскому юбилею (на этот раз к двухсотлетию со дня рождения), еще более раскаленный стократно предновогодним нетерпением окончания XX века,

— столетие со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899—1977) прошло как-то между прочим, почтительно и незаметно, зато в каком-то смысле и более достойно. И впрямь, за предшествующие десять лет был набран обширный новый опыт празднований столетних юбилеев классиков уже не XIX, а XX, собственного, века: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин, Зощенко следовали один за другим, как патроны в обойме. Выстрелы слышались всё глуше. Страна уставала от признания, празднования становились всё более академическими, пафос сменялся культурой. Пушкинский юбилей всколыхнул своего рода ностальгию по пышным юбилеям эпохи тоталитаризма, выпавшим в основном на долю классиков века XIX. Произошла, выражаясь языком физики, интерференция, помрачение салютом, свет погасил свет. Набоков оказался, в очередной раз, в тоталитарной тени, как и при жизни.

Но не надо и преувеличивать, это была уже тень от тени. Затмение даже не солнечное, а лунное (кто лучше, чем он, описал закопченное на керосиновой лампе стеклышко, через которое смотрят на затмение мальчик и девочка из соседних дореволюционных усадеб?., измазана бровь — неожиданное проявление брюнетки в блондинке, — а у мальчика скорее всего нос — попытка помочь друг другу стереть сажу должна кончиться первым поцелуем... нет, кажется, как раз и не поцеловались, но затмение проморгали... Где это у него? убей, не помню) — не надо преувеличивать и того, что плохо помнишь: это был сугроб, именины, а не затмение (рассказ «Весна в Фиальте»).

Как бы то ни было, на высшем уровне оказалось объявлено, что Набоков окончательно вернулся на родину, включая переводы с английского и французского (имелась в виду вышедшая

малым тиражом «Ада»). Однако объявленное полное собрание не вышло и первым томом, но ведь и Элендея Проффер (Анн Арбор, Ардис) не успела закончить набоковское собрание, и академический Пушкин не поспевал к двухсотлетию...

Несколько более широко, чем где бы то ни было, юбилей Владимира Владимировича прошел на берегах Невы. Университет имени Александра Блока почтил уроженца Петербурга международной научной конференцией, отмеченной весьма тонкими сообщениями, из которых особо следует выделить профессора Присциллу Мейер (Уэслиан, Коннектикут), блистательно приоткрывшую (в который раз!) очередной набоковский потайной ящик (на этот раз не в «Бледном огне», а в «Посмотри на арлекинов!») без признаков взлома или отмычки.

Все это было отраднo. Доступность Набокова, когда его безобразно распечатывали в провинции (с бездной опечаток!), когда готовилась русская киноверсия «Лолиты» (так и не снятая), оттолкнула истинных поклонников. Но пусть схлынул массовый читатель, зато на отмели удержались самые верные, и им стало, при всей скорби о недостаточном поклонении своему кумиру, по-своему комфортно (как когда-то, в 70-е...) ощущать себя посвященными и единственными. Помните, в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты»:

«Но что мне сказать насчет других, нормальных, читателей? В моем магическом кристалле играют радуги, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролера-поэта из советской страны, гримера путешествующей труппы, трех польских или сербских делегатов в многозеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, при-

знаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву».

На этот раз его встречали.

Кому-то даже показалось, что, прозрачный, спускался он к нам по небесному трапу.

Однако у меня создалось впечатление, что и на этот раз не столько мы недостаточно почтили Владимира Владимировича, сколько сам он запасливо от нас скрылся. Будто это не мы — о нем, а он сам прочитал нам очередную свою лекцию о Гоголе, на этот раз на собственном примере, «...как бы прекрасно ни звучало это финальное крещендо (“Эх, тройка! птица тройка...” — А. Б.), со стилистической точки зрения оно всего лишь скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае — Чичиков».

XXI век! Цифра звучала счастливо: двадцать одно, очко, удача игрока... Что ж, удача это и была — пережить-таки кровавый XX, дожидаться смены цифры на спидометре. «Век был неплох», — как сказал поэт. Никому не было жаль будущих школьников, которым предстояло каждый день в тетрадах выводить двойку впереди года — очередную тысячу лет... Что это за года такие пошли после двухсотлетия со дня рождения Александра Сергеевича, более похожие на очередную марку «жигулей» (они все еще выпускались в России), чем на годы?.. 2001, 2002, 2003, 2089... Ну, это ничего. Единица впереди, конечно, лучше, хотя 21 лучше 20, зато 22-й век грозит перебором, зато тройка впереди спасет. Все-таки календарное торжество как-то заслонило другой юбилей — двухтысячелетие со дня рождения Христа...

Не знаю, как спорили в год рождения Владимира, какой год считать концом XIX, а какой началом XX — 1899? 1900? 1901? но в 1999 году по этому вопросу возникла всемирная дискуссия (не просто смена веков, но — тысячелетий!..) — 1999? 2000? 2001? Математика разошлась с психологией, и общественное, автомобилизированное мнение победило: отмечалась все же смена цифры на спидометре. Не как конец, а как начало. Конец века отмечался два года, 1999-й и 2000-й, и начало века отмечалось дважды, в 2000-м и 2001-м.

Различие западной и российской ментальности сказалось и тут: нам, как всегда, нравилась более круглая сумма, американцам, по традиции ценообразования, — много девяток (без одного цента).

Отвлечение это не в сторону, поскольку мы говорим о дне рождения Набокова (и Пушкина в скобках). Пушкин успел родиться в XVIII веке, а Набоков, через сто лет, — в XIX, хотя каждый из них олицетворяет собой век следующий. На той же конференции академик Л. Н. Одоевцев, сделавший любопытное сообщение о набоковском переводе «Евгения Онегина» на английский, а также исследователь из Мытищ А. Боберов, оспоривший в своем докладе дату рождения В.В. Набокова, вступили в примечательный диспут: в 1899, 1900 или 1901 году родился юбиляр? А. Боберов оспаривал 1899 год категорически, выдвигая более поздние даты, но был убедительно опровергнут — его подвело слабое знание английского (как в свое время — итальянского, в его нашумевшей гипотезе о «Божественной комедии»). Любопытно также, что все это произошло на фоне всероссийской (очередной) дискуссии о подлинном месте и подлинной дате рождения Пушкина (26 или 27 мая и по какому стилю отмечать).

Дело в том, что Владимир Владимирович, шепетильный до брезгливости сторонник точности, в своих прижизненных изданиях, как на английском, так и на русском, так и в переводах, которые мог контролировать, допускал неоднократно одну и ту же неточность (на мой взгляд, сознательно), а именно — в дате своего рождения. Это он-то, в одном из редких своих интервью (журналу «Вог», 1969, по поводу выхода «Ады») заявивший на вопрос (бесспорно его раздраживший журналистской пошлостью), что бы он хотел пожелать будущей литературе, — «Ничего. Разве чтобы в моих последующих изданиях, особенно в мягких обложках, были исправлены немногочисленные опечатки». Ошибка в дате рождения — пример такой «опечатки». После успеха «Лолиты» все романы Набокова выходили в популярной и престижной серии «Пенгвин букс». Под обложкой, на первой же странице, в этой серии полагается краткая биография автора. В полутора десятке книг Набокова этой серии, которые я видел, биография перепечатывается слово в слово, лишь с одной настойчивой опечаткой— 1899,1900,1901 год рождения. Не могу утверждать, что он сам ввел эту опечатку, но, зная его мистификаторский гений и склонность доставлять себе мелкие, личные удовольствия в тексте, можно с уверенностью предполагать, что он эту опечатку «поддержал», пропуская.

Приведу эту биографию (издание того же года, что цитированное выше интервью, — 1969): «Владимир Набоков родился в Санкт-Петербурге (теперь Ленинграде) в 1901 году. Его отец был хорошо известный либеральный и государственный деятель. Когда пришла революция, для него началась долгая цепь странствий, во время которой он изучал романские и славянские языки в Кембридже, который закончил в 1922-м. Затем он жил на континенте, преимущественно в Берлине, и заново

утвердил себя как один из наиболее выдающихся писателей русской эмиграции.

В 1940 году он и его семья переехали в Америку, где он стал преподавать в Уэслианском колледже, в то же время занимаясь исследованиями по энтомологии в Гарварде. Позднее он был профессором русской литературы в Корнеллском университете в течение одиннадцати лет.

Лучшие из его рассказов собраны в «Набоковской дюжине»; их можно приобрести в серии «Пенгвин», так же как и романы «Пнин», «Смех во тьме», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», и «Приглашение на казнь», и «Говори, память», автобиографию. Его другие романы — «Под знаком незаконнорожденных», «Лолита», по которому был снят фильм и который принес ему мировую славу, «Бледный огонь», «Отчаяние» и, последний, «Король, дама, валет» (1968). Он также опубликовал переводы из Пушкина и Лермонтова и биографическое исследование о Гоголе.

Владимир Набоков, который сейчас проживает в Швейцарии, женат и имеет одного сына».

Я сознательно не совершенствую перевод (слово в слово), включая даже неточности, — в своей лапидарности он наиболее выразителен.

Автор, даже Набоков, никогда не бывал главным в издательском деле. Переведем теперь это на русский язык.

На Западе биографии писателей после смерти не меняются. Вырос лишь перечень книг, вышедших в этой серии, да последняя строчка... Не живет, а умер.

Владимир Владимирович Набоков умер в Швейцарии, в городке Монтре, 2 июля 1977 года. Как не преминули отметить «набоковисты», В.В. похоронен в Веве 7.7.77, будто это именно им был послан последний привет великого мастера литератур-



ной игры. И впрямь семерка — коса — означает иной раз «смерть» в домашних, дачных карточных гаданиях.

Родился же Владимир Набоков в Санкт-Петербурге все-таки в 1899 году. «Либеральный деятель» в переводе на русский



означает член I Государственной думы от кадетской партии, впоследствии управляющий делами Временного правительства. В этом качестве он имел отношение и к отречению Николая II. Семейству Набоковых принадлежал также один из первых автомобилей в Петербурге — одно из богатейших семейств... Владимир Дмитриевич был англоман: в английском магазине покупались все дорогие и модные новинки, как, например, походные надувные ванны, не говоря о ракетках, велосипедах и прочем спортивном инвентаре, включая сачки для бабочек.

Все, чем для прихоти обильной  
Торгует Лондон шепетильный...

Все это прекрасно описано самим Набоковым в «Других берегах». И это немаловажно отметить: еще одна черта его образования как прозаика. Ибо мир вещей, привычный ему с детства как данность, никогда не поразит его в Европе, никогда не станет предметом переживаний неимущего (нищего по сравнению с дореволюционной жизнью), зато вещи как деталь

описания, как изделие будут подвластны ему в той же степени, как и мастеру, их изготовившему. Читая, вы будете ощущать эти предметы на ощупь, даже не имея ранее о них никакого представления. Чего стоят хотя бы сетования Набокова в послесловии к русской «Лолите» о невозможности перевода спортивных терминов на родной язык:

Но панталоны, фрак, жилет,  
Всех этих слов на русском нет...

«Евгений Онегин» тут тоже при чем. В конце концов, «философом в осьмнадцать лет» Владимир встретит русскую революцию на сто лет позже Евгения. Соотношения и тайные соответствия с Онегиным протянутся через всю его жизнь, особенно выявившись в его позднем иноязычном творчестве (не говоря о четырехтомном комментированном издании перевода пушкинского романа на английский).

Набоков сам называл себя английским ребенком — у него, ясное дело, была своя англичанка, и ее язык сопутствовал ему с младенчества, как и язык матери. Французским он владел столь же свободно. Так что все три языка он вывез еще из России пригодными как для общения, так и для писания. И этого барьера, уже не имущественного, а языкового, преодолевать ему не пришлось.

И все свои хобби — бабочки, шахматы, спорт — Набоков также вывез из Петербурга, из России, из своего детства.

Он вывез детство и юность, счастливые, как у принца, первые стихи, первую любовь... Дом в Петербурге на Морской, усадьбу в Рождествене под Петербургом, лето в Ялте... Весь этот импорт мы обнаружим позднее в его прозе: рассказы «Обида», «Лебеда», «Совершенство», повесть «Другие берега» и... повсюду.

Он отбыл из России с родителями, из того же Крыма, в апреле 1919-го, двадцати лет от роду — навсегда. Та жизнь кончилась с внезапностью то ли несчастного случая, то ли убийства. Новую он, кажется, никогда не начинал. Она — в книгах.

Набоков не эмигрант. (Боже упаси! я не хочу оправдать его таким образом ни в чьих глазах...) Это его судьба. Но и не только. Судьба есть линия одной жизни, как угодно ломанная, под каким угодно, хоть острым, хоть обратным, углом продолжения. У Набокова это послесмертие. В послесмертии уже не живут, а присутствуют, никем не замеченные, и всё видят. Сам переход от жизни к смерти у Набокова всегда переход от чувства, достаточно слепого и бедного деталью, к зрению, ею загроможденному и перенасыщенному.

Сама смерть легка, даже забавна. Смешно, что человек никогда не узнает, что умер.

Не так ли молодой влюбленный никогда не узнает, что невеста ушла от него, потому что попадает под трамвай (рассказ «Катастрофа»)? Не так ли Картофельный Эльф умрет, так и не узнав, что его внезапно обретенный сын уже мертв? Это даже счастье, а не смерть. Один рассказ даже так и назван — «Совершенство», о том, как учитель утонул, спасая ученика, тайно оповещенный в секунду смерти, что тот не умер. Не так ли Смуров удивится после самоубийства силе мертвого воображения, воссоздающего покинутый мир с полнотою и точностью самой жизни (повесть «Соглядатай»)? И кто стал прозрачным, мир или Смуров? Кто кого не замечает? Непрозрачным станет Цинциннат в «Приглашении на казнь», но это уже приговор...

«Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы... заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное

розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Тайственная эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого» («Соглядатай»).

Что было бы, если бы?.. Если бы Сиваш, скажем, не подсох в 1920-м? Что было бы, если бы красные не пересилили белых и была бы непонятная, послевоенная, послереволюционная Россия, вяло переползающая в буржуазную республику, понемножку теряющая свои имперские очертания и обретающая исконные? Не знаю, что было бы. Вариантов у Истории не бывает. Есть единственный, которого мы не постигаем. Что было бы?.. Да не было бы деления на литературу советскую и эмигрантскую хотя бы. Эмигрантская не замерла бы в бесконечной ностальгии, а советской бы не было (а жаль! какая такая литература без Платонова и Мандельштама...).

Какой могла бы быть русская литература после Чехова и Блока, после Серебряного века и символистов, непрерывная, непрерыванная?

Набоков и есть отсаженная ветвь той гипотетической литературы, проросшая сквозь культуру в цивилизацию.

Поэтому русская литература после 1917-го делится на советскую, эмигрантскую и... Набокова (я их не выравниваю и не сравниваю, тоже, Боже упаси...).

Налегке, с шахматной доской и сачком под мышкой, Набоков вывез из России самый большой багаж — не тронутую ни зрелым опытом, ни писательским отражением нераспечатанную юность, непочатый элементарный опыт бытия.

Все это позволило ему не стать эмигрантом.

Из России он прибыл в Англию, с детства привычную, хотя бы и непосещенную страну, чтобы как бы продолжить (после

Тенишевского училища) образование. В Кембридже (которому он посвятил дивные страницы в «Подвиге» и «Других берегах») он в белой рубашке апаш ловил бабочек, играл в теннис, греб на лодке по каналам и изучал, как сказано выше, романские и славянские языки (учиться ему было как бы и нечему, и учение, надо полагать давалось ему легко). Он окончил Кембридж за три года. Лет этак через шестьдесят шесть мне довелось посетить те же места. Тамошний русист с гордостью сообщил мне, что вычислил по набоковским описаниям квартиру, в которой тот жил. Он показал мне окна на третьем этаже, возможно, те самые. Дом был серый, даже черный для Кембриджа, и невзрачный. Сердце мое не забилося. Равнодушно я опустил глаза, чтобы увидеть в витрине первого этажа перекрещенные две ракетки с теннисными же рассыпанными мячиками. Привет от Лолиты!.. Ее герб. Порадовавшись чисто набоковскому намеку, мы с русистом заглянули и в колледж по соседству, в котором один когда-то учился, а другой нынче преподавал. Какое счастье — средневековые эти дворы, с их газонами (теми самыми, про которые каждый русский знает, сколько им лет) и фонтанами!

Этот был поменьше, зато куда ярче прочих. Такого буйного и яркого соединения цветов (как растений, так и красок) мне еще не доводилось видеть. Я подумал с неудовольствием, что студент Набоков уж точно знал имя каждого цветка. Цветы были так красивы, что, как и газоны, росли триста лет. Таковыми же их видел Набоков, годившийся мне теперь в сыновья, их посеяли при Ньютоне. Но и это нет, цветы были прихотью сторожа колледжа, явно при Набокове еще не служившего. Нас обогнал бодрый и древний старик, и я еще понадеялся, что этот мог бы быть сторожем при Набокове. Но и это нет. Как пояснил мне русист, это был старейший профессор Кембриджа, лет около ста, преподающий здесь лет более семидесяти. Нет, На-

боков таки не любовался теми же цветами!

— А что же можно преподавать так долго? — спросил я без любопытства.

— Он энтомолог, специалист по бабочкам.

— Так он же помнит Набокова! — возликовал я.

— Он ничего не помнит, — сказал русист.

Старик продолжал нас стремительно обгонять, оторвавшись уже метра на два. То ли он нас не слышал, то ли не видел, то ли мы говорили по-русски. Так, наверно, проходят сквозь текст Смуровы, Цинциннаты, как он прошел сквозь нас. «Он мог все забыть, но старики особенно помнят, что было в молодости. Не мог он забыть русского студента, наверняка навещавшегося к нему со своими крымскими бабочками!» Я невольно посмотрел вверх, будто там мог пролететь сам Набоков под видом мотылька. Его там не наблюдалось — лишь чистый голубой квадрат неба.

— Слушайте, — теребил я русиста. — Его непременно надо допросить — это же уникальный мемуар!

— Да, да, — неохотно соглашался русист, будто расспрашивать старика все-таки не стоило. Мы были как-никак в Англии. Старик скрылся в какой-то секретной дверце, провожаемый моим жадным взглядом.

Набоков с особой гордостью включал в свою библиографию под номером первым как первую публикацию статью 1920 года о бабочках Крыма (опуская как несуществовавшую свою гимназическую поэтическую книжку, думаю, не столько стесняясь, сколько для чистоты жанра: чтобы в России ничего им написано не было).

В 1922 году от пули террориста погиб отец (успел заслонить своим телом Милюкова, которому пуля предназначалась).

Если собственная смерть у Набокова не страшна, то чужая

смерть, смерть другого страшна очень. Страшно за родителей, еще не знающих о смерти дочери, страшно за их зятя, которому надо об этой смерти им сообщить (рассказ «Возвращение Чорба»). Страшно за бедную еврейскую маму, суетящуюся на-счет чая неожиданным гостям, пришедшим сообщить о смерти единственного сына (рассказ «Оповещение»). И невыносимо разрывает читательскую душу рассказ об отце, потерявшем сына — это больше, чем смерть, — смертельное бесчувствие отца взрывается рыданиями, когда зимней русской ночью из кокона в коллекции мертвого сына выходит живая экзотическая бабочка. Смерть в этих несчастных рассказах настолько страшна, что ее тоже нет. Она не уместится в сознании.

Кто же это все умирает и умирает в рассказах Набокова — так легко для себя, так страшно для окружающих? Набокова вроде не спутаешь с его героями, не уличишь (он бы этого не потерпел) в автобиографизме, но легко помирает — автор, а страшно — все тот же маленький Путя, однажды уже переживший что-то вроде набоковской легкой смерти, когда его все забыли при игре в прятки и он ощутил, что исчез, стал непрозрачен, как будущий Цинциннат («Обида»).

В рассказе же «Лебеда» сам Путя не может пережить гибель отца, которая счастливо не состоялась и разрешилась теми же рыданиями.

Кто же стал прозрачен, кто же умер, у кого умерли?

Погибла Россия, погиб отец, сам Набоков стал прозрачен в послерусском послесмертии, как мальчик в чужом саду.

Кто виноват? Набоков не разбирается в этом — он не любит их.

Они — это целый ряд литературных героев. Эмигранты, немцы, разночинцы — убийцы, садисты, тираны — они. Тема хама и насилия (рассказы «Лебеда», «Хват», «Круг», «Королек»,

«Лик», «Истребление тиранов», «Облако, озеро, башня») навязчива, как тема смерти в рассказах его и романах. Никаких упреков истории, социуму или политическим системам у Набокова нет — высокомерное раздражение на самого себя: досадное, напрасное, — психологическая неотвязность ненужного, чуждого человека в жизни. Гамма навязанных лирическому герою Набокова чувств по отношению к ним колеблется от ненависти до жалости и нежности (рассказы «Лик», «Круг»). «Круг» назван так не только по совпадению закольцованных сюжета и формы, но и по драматическому несовпадению героя рассказа с кругом Набокова в более светском смысле слова (здесь встретим мы впервые упоминание о Годунове-Чердынцеве, отце героя будущего романа «Дар»). Именно в «Круге» Набоков испытал возможность оптимального сочувствия к своему оппоненту. Герой рассказа любит (как всякий плебей, по-своему) Годуновых-Чердынцевых, они его готовы (и всегда не готовы, как люди своего круга) принять, но все-таки именно он не может перейти к ним, а не они (на этот раз «они» — наоборот) его не пускают. Он как бы от природы прирос к чему-то большему, им отвергаемому и нелюбимому, чего он стыдится, — к некой темной и слитной породе (в геологическом смысле), как кристалл. Набоков справедлив по-своему: один лишь классовый подход ему чужд. Люди такой породы встречаются в любой породе, различный дух поражает и дворянина: «Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его бедными двумя “у”, безнадежно аукающимися в чашобе экономических причин» («Соглядатай»).



Попытка быть справедливым не сделает человека демократичным. Впрочем, принадлежность черт не может быть недостатком. Недостатком является их непринадлежность. Отношение героев Набокова к своим антиподам, колеблющееся от ненависти и презрения до жалости и почти любви, можно назвать комплексом, но лучше назвать страхом. Набоков проклял бы каждого, примеряющего к нему ненавистное слово «комплекс». Ядовитые выпады против Фрейда и всей венской делегации пронизывают все его творчество.

Природу этой неприязни легко и не надо истолковывать. Очень уж просто было бы накрыть набоковские построения о противостоянии смерти и исчезновении этим примитивным понятием. Не будучи ни знакомым, ни представленным, Набоков на своих страницах демонстративно не подавал руки человеку, который гибель родины и гибель отца обозвал бы комплексом.

Как-то раз и я встретил человека, заявившего, что и вся Россия — не более чем мой комплекс. Наверное, я не мог его опровергнуть, наверно, я сорвался в обидную, досадную, оскорбительную (мне), безнадежную грубость. Не помню сейчас, где и при каких обстоятельствах (во второй, английской половине творчества) пытается набоковский герой объяснить непонятное иностранцу русское слово *poshlost*, и даже Набокову это не удается.

В этом очерке я опираюсь лишь на «второстепенного» Набокова, и это недаром. Романы возвышаются в его творчестве таким Эльбрусом с двумя вершинами — русской и английской, — мне здесь не пройти и траверсом, я обойду их вокруг, с камушка на камушек. Возможно, как раз в том, чему ни он, ни мы не придали такого значения, он и сказался в наибольшей степени как человек, а не как мастер. И уж точно, что именно

в рассказах и стихах находим мы эскизы ко всем его великим романам.

Впрочем, почти все рассказы и стихотворения написал не Vladimir Nabokov, а В. Сирин, в своей первой, русской половине творчества. Кроме этого, он написал по-русски романы «Машенька», три квазинемецких романа—«Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние» — и такие шедевры, как «Подвиг», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Итого восемь. Все это после Кембриджа, уже в Германии. Литература плохо кормит: Сирин пишет, Набоков подрабатывает. Какими только уроками он не подрабатывает, включая теннис (что особенно любит впоследствии помянуть)!

Вообще у этого сноба, у этого эстета, у этого недемократа, у этого неэмигранта потрясающе трудовая (по сравнению с любым современным ему автором) жизнь. Литературная независимость не только в индивидуальности почерка, но и в поведении настолько полная, что за это приходится платить (тем же трудом). Он еще и бабочек не забывает никогда. И как шахматный композитор выступает.

Отношения с эмигрантами-литераторами не складываются. Русская манера, усугубленная эмиграцией, сплачиваться и рассыпаться на лагеря, кружки и кружочки ему не импонирует. Друзей у него нет. Писателей его ранга в его поколении не наблюдается. Со старшими то же. Они вывезли из России свою табель о рангах и остановились в ней. И с Бунинным, сразу высоко оценившим его талант (с этим, по-видимому, связано редчайшее в практике Набокова посвящение в прозе — в рассказе «Обида»), отношения довольно быстро не сложились (превосходная по точности сцена в «Других берегах»). «Я всегда предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе», — напишет о Бунине Набоков. И только, наверно, к

Ходасевичу сохранит он на протяжении всей жизни благодарное и ровное отношение (Ходасевич напишет превосходно о Сирине в 1930-е, а Набоков провозгласит его первым русским поэтом века в 1960-е).

Но одиночество Набокова не обреченное, не тоскливое, а им избранное — счастье семьи и труда, — на которое ему хватает духа. Да и какое общество в посмертии? Ему хватает его Веры (ей он посвятит все свои книги), его сына Дмитрия, его бабочек, шахмат, не читанных, не перечитанных и не написанных только им книг.

Развитие писателя в эмиграции — тема весьма сложная и проблематичная. Набоков не продолжал, а начинал писать. Старшие замирали в изгнании, младшие не находили продолжения. Гениальный талант Набокова требовал развития. После «Дара» Набокову стало нечего делать.

И посмертие кончилось.

Из фашистской Германии он в 1937 году переезжает в Париж (СПАСАЯ ЖЕНУ). Здесь он пробует покинуть русский язык, сбиваясь с английского на французский (первая проба будущей «Лолиты» и глава из будущих «Других берегов»), и в 1940-м переезжает в Америку.

И это сравнимо с 1919-м.

Снова морская вода отделяет жизнь от жизни или посмертие от посмертия (жизнь все равно осталась тогда, там). Эти две его «послежизни» поразительно симметричны, но и не похожи. Не похожи принципиально, как принципиально отличие левого от правого или объекта и отражения. Эти два творчества — русское и английское — симметричны, как крылья бабочки.

Решимость, с которой Набоков сам поменял жизнь, ни с чем не сравнима в практике мировой литературы и равнознач-

на лишь той исторической решимости, которая без его воли, сама поменяла ему жизнь. Из Европы отплыл Сирин — к американскому берегу причалил Набоков. Большой русский писатель стал начинающим американским. Самое великое свое достояние — русский язык, в котором ему уже не было равных, он пожертвовал языку своей гувернантки.

Первый англоязычный роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» симметричен последнему русскому — «Дару». Как романист Набоков вооружен восемью русскими романами, он изощрен как композитор, ему все подвластно; как прозаик он лишь начинает и пишет почти на ощупь. Эта ощупь очень видна в изощренности приема, в параметрах исчисленного автором повествователя. Если в «Даре» герой — писатель, молодой и непризнанный гений, то в «Себастьяне Найте» — тоже как бы начинающий писатель, но гений не заявленный, замороженный бытием родного брата, писателя великого, прославившего тончайшим стилистом на неродном ему языке (но на родном никогда и не писавшего... модель Джозефа Конрада). Это роман-воспоминание, роман-следствие, роман-биография. Повествователь же, занимавшийся до того лишь техническими переводами, никогда беллетристику не пробовавший, как бы застрахован этим от упреков читателей в недостаточной изощренности английского, в полной мере воплощенной в творчестве брата. Стремление выяснить окончательно мучительную тайну их взаимоотношений на протяжении жизни приводит повествователя в финале к постели умирающего брата. Ему удастся подменить сиделку. Всю ночь он просидел у постели, держа руку спящего в своих и проникаясь чувством прощения и любви настолько, что в темноте по ошибке он просидел у чужой постели; брат тем временем скончался в соседней палате. Но за ту же ночь герой прожил более реальную жизнь и

почувствовал в себе брата. И кто умер, а кто остался, он уже не знает. Не передал ли брат ему свое бессмертное мастерство?

Этот не самый знаменитый роман Набокова очень важен для попытки постичь феномен перехода с языка на язык. Смерть, так напоминающая смерти из сирийских рассказов... Умер Сирин — родился Набоков. Кто кого держал за руку в момент написания романа? Сирин Набокова, Набоков — Сирина?

Крыло бабочки отразилось в собственном крыле.

Следующий роман «Под знаком незаконнорожденных» в чем-то симметричен «Приглашению на казнь» и «Истреблению тиранов».

Набоков пишет и профессорствует, обеспечивая семью, бабочек и романы. Роман «Пнин» — о русском бестолковом одиноком профессоре, всю жизнь безнадежно любящем единственную женщину и ее, не его, сына, осуществившем несуществующую любовь, — расскажет нам, конечно, не о Набокове, но о том, чего стоило ему его профессорство, и что такое жизнь русского в Америке — мы пойдем. В.Л. Казем-Бек, профессорствовавший в то же время с Набоковым, на мои расспросы рассказал мне немного: «Ни с кем не общался. Коттедж его резко выделялся среди прочих образцовых профессорских коттеджей с их цветочниками, газончиками и кирпичными дорожками. Участок его порос настоящими русскими лопухами и крапивой, и дом облупился. Изредка на крыльце объявлялись две русские тени в халатах, на вид еще дореволюционных». «Пнин» — единственный среди английских роман-характер (сюжет равен характеру), так же как и «Защита Лужина» — единственный роман-характер среди его русских.

Двигаясь вспять по цепочке русских романов Сирина, Набоков набирает силу. Русские подобию, молодея, слабеют; английские — достигают зрелой мощи. Несмотря на внешнее

сходство сюжетов «Камеры обскуры» и «Лолиты», сравнивать их нельзя уже по уровню (как поначалу нельзя было сравнивать «Себастьяна Найта» с «Даром»).

«Лолитой» Набоков завоевал мир. А вместе с ним и право на всё, что он написал до, и на всё, что напишет после. Завоевал он и покой: «С тех пор как моя девочка кормит меня...».

В 1959-м Набоков возвращается в Европу.

Он еще напишет «Бледный огонь» и «Аду», «Прозрачные вещи» и «Посмотри на арлекинов!».

Карл Проффер, которому Набоков передал право на переиздание русских романов (право на Сирина) и который поэтому встречался с ним неоднократно, в том числе и незадолго до смерти, рассказывал, что в кабинете Набокова царили чистота и пустота. Все систематизировано и разложено по папкам, и ни одной, даже чистой, странички на столе. (Такой же порядок помнили современники в последний год Блока...).

Все было исполнено.

Бабочка сложила крылья. Будто на все еще теплом камне Крыма, так и не остывшем с 1919-го.

С 1919-го у Набокова никогда не бывало дома... Келья Кембриджа, номера в пансионатах, съемные квартирки, профессорские коттеджи и роскошный «Палас-отель» в Монтре.

Такой дом, какой был у Набокова, бывает у человека лишь один раз. В Петербурге, в Рождествене, в России...

Два раза (не считая английских лекций по русской литературе и переводов с русского на английский) возвращался Набоков из английского в русский язык. Написав свои мемуары сначала по-английски, он сел их переводить на русский, но связь русского материала с русским языком была столь велика, что преодолевала речь английскую, и книга оказалась не столько переведена, сколько переписана. Можно считать ее

последней его книгой, писанной по-русски. В другой раз сел он переводить свой лучший английский роман «Лолита», не доверяя свою девочку другим переводчикам. Грустно звучит послесловие к русскому изданию: «История этого перевода — история разочарования. Увы, тот “дивный русский язык”, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку».

Там же, в конце послесловия, содержится горькая ирония по поводу его намерений (мечтаний? фантазий?) посетить когда-либо Россию по подложному паспорту в качестве делегата на конгресс энтомологов (еще менее возможное для СССР того времени допущение!):

Качурин, твой совет я принял  
и вот уж третий день живу  
в музейной обстановке, в синей  
гостиной с видом на Неву.

Священником американским  
твой бедный друг переодет,  
и всем долинам дагестанским  
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев  
в подложном паспорте не сплю:  
исследователям обоим  
ли леи и лианы шлю.  
Не спит, на канале устроясь,  
коленки приложив к стене

и завернувшись в плед по пояс,  
толмач, приставленный ко мне.

(«К кн. С. М. Качурину»)

Он приблизился к России на ленинскую дистанцию (Швейцария).

Но его герои туда ходили.

В рассказе «Посещение музея» герой, вырываясь из бреда беспорядочно накопленной, мертвой материальной культуры (в каком-то смысле этот бредовый музей — пародия на затхлый уголок провинциальной Европы 30-х годов), внезапно оказывается в голом, ночном, снежном пространстве России и ареста. Рассказ этот находится в близком родстве с «Приглашением на казнь», где та свобода, которую оберегает Цинциннат во время исполнения приговора (отвернулся от палачей и пошел к толпе, встречающих его «своих»), очень напоминает возвращение на родину. Родина — это не только территория и не только казнь, это уже казненные «свои». Казнь отпускает человека на родину.

Тут кроется вовсе не мистический или символический секрет многочисленных исчезновений, растворов, испарений русских героев Сирина — тайна его удивительно просветленных и нестрашных смертей. Возвращение на родину есть смерть, но и смерть есть возвращение на родину, на подлинную родину «своих», на свою родину.

Не метафорой, а сюжетом стало это в романе «Подвиг» (признаться, моем любимом), где герой Мартын задумывает и исполняет возвращение в Россию, сознательно (как сказали бы мы) идет на смерть, и это не самоубийство от несчастной любви, а подвиг. (Набоков довольно часто, отделив близкого



ему героя от себя, придает ему заведомо несхожие черты — то пьяницы, то фальшивомонетчика... На Мартыне маска нелюбимости и бесталанности — тоже синонимы своего рода.)

В стихах все это без маски:

Бывают ночи: только лягу,  
в Россию поплывет кровать;  
и вот ведут меня к оврагу,  
ведут к оврагу убивать.

.....

Но сердце, как бы ты хотело,  
чтоб это вправду было так:  
Россия, звезды, ночь расстрела  
и весь в черемухе овраг.

(«Расстрел»)

В одном из последних (если не последнем) сирийском рассказе, написанном уже в Париже в 1939 году, поэт Василий Шишков (тот же Мартын, но зрелый и талантливый), разочаровавшись в конечной, абсолютной затее создать журнал «Обзор Страдания и Пошлости», рассуждает так:

«Вопрос шире, вопрос безнадежнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет — это полымя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах,

да, кроме того, боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета. Значит, остается способ один — исчезнуть, раствориться».

Рассказ написан как конкретный мемуар о конкретном человеке, который и впрямь исчез, написан нарочито сухо и как бы реально-реалистично, без тени метафоры или условности. Написан рассказ на чемоданах, в мае 1940 года. Набоковы плывут в Штаты. Русский поэт и писатель Сирин исчезнет навсегда. Он исчезнет не столько на другом континенте («геркулесовы хлопоты»), сколько в другом языке. Нет для писателя большего разрыва с родиной, чем разрыв с языком его произведений. Но неотвязный этот кошмар невозвратимости, необратимости родины должен быть побежден и преодолен. Сирин эмигрировал из эмиграции, на этот раз сам. Это мы знаем про великого англоязычного писателя Владимира Набокова — русский писатель Сирин таких гарантий не имел. Вот как кончается тот же рассказ о Василии Шишкове:

«Но куда же он все-таки исчез? Что вообще значили его слова — “исчезнуть”, “раствориться”? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он “прозрачность и прочность такой необычной гробницы»?

Можно говорить о тесноте и бесперспективности эмигрантского литературного круга для Сирина, о разгорающейся мировой войне, о необходимости спасти семью — и все это будет правда. Но нельзя не сказать, что писатель Сирин «исчез» в том же направлении, в котором на протяжении почти двадцати лет исчезали многочисленные его герои. Между Европой и Россией — суша. Все его герои уходят туда буквально, то есть

ногами, пешком. Другие берега — это не Россия, это Америка. Орудием казни был пароход, отошедший от Севастополя в 1919-м. Окончательный разрыв, другие берега—пароход, океан. Юного Набокова отделило от России Черное море. Между Сириным и Набоковым должен был поместиться океан, отделяющий английский язык от русского.

Ходасевич подошел к романам Сирина, разнообразным по героям, сюжетам и коллизиям, как к романам о творчестве как таковом. Творчество само имеет свой сюжет, свой пейзаж, свои законы времени, своих героев, свою реальность, которые и воплотил с такою яркостью Сирин. Все это лишь задрапировано изящным покровом внешней сюжетики и реальности. Ходасевич убедителен, все это верно в отношении Сирина-Набокова. Но в таком случае между творчеством и Россией следует поставить знак равенства.

Я все еще не сказал ни слова о стихах...

«Набоковисты» (поклонники, не подозревающие о своей принадлежности — лучше им и не знать друг друга, — сложившейся в застойные 1970-е в России после того, как русские романы Набокова стали просачиваться в страну в перепечатке «Ардиса»), как правило, полагают стихи его слабее прозы. Это слишком просто — важно понять, зачем и почему, будучи столь неоспоримым мастером в прозе, он не переставал их писать, пусть и более слабые. Предпочтя стихи Бунина его прозе, не защищал ли Набоков свои собственные стихи от своей собственной прозы? (Так, единственный мне известный «набоковист», предпочитающий стихи Набокова его прозе, В. Солоухин, тоже защищает свои стихи от своей прозы...)

Ничто так не выражает (а в слабости — обнажает) личность человека, как его поэзия. Великое (многие полагают, что и чрезмерное) мастерство Набокова в его прозе гипнотизирует

и мистифицирует нас. Мы всегда хотим унижить то, что заведомо поставим выше себя. Да, конечно, мастер, да, конечно, талант, да, возможно, гений, но... Сколько я слышал такого. То холодный, то неверующий, то бездушный, то циничный, то жестокий (короче — безыдейный...). Мы отказываем человеку в боли, чувстве, трагедии за то, что ставим его выше себя. Не есть ли это плебейство или попросту зависть? Не есть ли и пресловутое мастерство (тем более избыточное) своего рода маска человека застенчивого, нежного, ранимого и израненного, страшась насилия (в том числе насилия истолкования)? Почему мы полагаем, что человек самонадеян, самовлюблен, ставит себя выше окружающих (кстати, а почему бы и нет?), что он в восторге от себя и самодоволен, как раз в том случае, когда мы сами в восторге от него? Не влюблены ли мы сами? (Вспомните чувства героя из рассказа «Круг».) Не есть ли обостренное чувство достоинства то, что мы полагали за высокомерие или самодовольство?

Ревнивый почитатель и критик (в одном лице) снимет все эти подозрения и вздохнет с облегчением, переходя от прозы Набокова к его стихам. Столько бесхитростной, открытой, даже неприкрытой любви! Нет, зря мы подозревали его в прозе. «Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет» (рассказ «Памяти Л.И. Шигаева»).

Набоков тоже человек, а не только мы с вами, потому что не умеем, как он.

Читайте же стихи Набокова, если вам непременно надо знать, кто был этот человек. «Он исповедался в стихах своих довольно...» Вы увидите Набокова и плачущим и молящимся.

Я выехал давно, и вечер не родной  
рдел над равниною не русской,  
и стихословили колеса подо мной,  
и я уснул на лавке узкой.

По занавескам свет, как призрак, проходил.  
Внимая трепету и тренью  
смолкающих колес, — я раму опустил:  
пахнуло сыростью, сиренью!

Была передо мной вся молодость моя:  
плетень, рябина подле клена,  
чернеющий навес, и мокрая скамья,  
и станционная икона.

И это длилось миг.. Блестя, поплыли прочь  
скамья, кусты, фонарь смиренный...  
Вот хлынула опять чудовищная ночь,  
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,  
толчки глухие, вздох и выдох,  
и жалоба колес, как повесть беглеца  
о прежних тюрьмах и обидях.

(«В поезде»)

Восхищение Набоковым, преклонение перед его мастерством — ничто по сравнению с тем неразделенным его одиночеством, тем нашим долгом ответной любви, которой он не получил.

Не тот ли мальчик так же остался стоять на палубе, глядя на отплывающий от него Севастополь, и простоял так до самой смерти?.. Великий писатель, вундеркинд, инфант, ученый, открывший свою империю взамен утраченной... Он собрал все

брошенное нами, все лишнее, неважные вещи, отсеянные из нашего опыта навсегда вовсе не грубостью и жестокостью жизни, а нашим грубым представлением о ней. Вот вам и великий мастер детали! Мы узнаем у Набокова то, что забыли сами, мы узнаем свои воспоминания (без него бы и не вспомнили) о собственной не столько прожитой, сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил все и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было все более невнимательной и сытой мировой литературой (вдруг вспомнил те часики с потерянным стеклышком, которые еще идут в одном из его рассказов). Как всякий император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невестри, случай, совпадение, опоздание, ошибку... Поэт невестри, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливой, а не туманной.

Как ученый (а он именно ученый и потому энтомолог, а не наоборот) он каждый день вглядывался в строение мира, а как художник наблюдал Творение. Оттого мир его и не груб, как постоянно вычленяемое нами «главное», а тонок, как целое. Только тонкие различия принципиальны (как «производственно» помог опыт энтомолога писателю!). Тонкость мира есть граница, пыльца контакта между жизнью и небытием. Что-то есть жестоко детское и беззащитное в отношении Набокова к смерти как к «всего лишь» разлуке. Он-то знал, что значит это «всего лишь». Этот жгучий детский интерес к смерти и невозможность ее признать — попытка смотреть на солнце, дольше всех не сморгнув. Набоков накаливает каждую следующую смерть, как бабочку, отменяя тем самым смерть. И в булавке важна не боль протыкаемого, потому что уже мертвого, тела, а отблеск солнца в ртутной, градусниковой сферочке булавочной головки.

И теперь, когда Набоков наконец, уже в XXI, как многие считают, веке, в еще одном своем послесмертии, вернулся на родину (сколько же не заслуженного нами пафоса вкладываем мы в это утверждение, будто находя в этом достижение и заслугу...), надо не забывать, что вернулся он сам, но только не так, как ему или тем более нам хотелось, а как его Мартын из «Подвига» — через пейзаж, висевший над его детской кроваткой.

Так что, во-первых, это именно нам следует помнить, что это не он, а мы пытаемся вернуться на родину.

## 2. СМЕРТЬ КАК ТЕКСТ

Самоутверждаться в системе оценок — с одной стороны, паразитизм культуры, с другой — поддержание порядка на этом погосте есть единственное обеспечение ее существования. Поэтому: стройность и ухоженность этих могильных холмиков и надгробий — понятий, имен, дат и иерархий на кладбищах учебников, монографий, энциклопедий и словарей — являются определяющим признаком культуры. В школах и университетах учимся мы лишь тому, что было, что прошло, — прошлому, смерти, убеждая себя в том, что живем вопреки ей. Неприменимость знания к жизни есть тоже признак культуры, причем уже достаточно высокой. Поэтому: кто великий, кто большой, кто замечательный, кто знаменитый, кто прославленный, кто выдающийся, кто гениальный — есть не только расхожая пошлость человеческих амбиций, в частности литературных, но и устав, в самом армейском смысле, культуры. Устав, на букве которого легче всего чиноподвигается заурядность и посредственность: легче ухаживать за избранной могилкой, подворывая собственную жизнь, чем жить собственной жизнью с живым человеком. Неистовость прижизненных фанатов — не

более чем проекция долгожданного распятия. Прижизненное признание — не самая точная функция современника.

Еще есть категория «бессмертный», применяемая более к творениям, чем к их создателям, и лишь отчасти к их репутациям, с которыми мы ничего поделать не можем, которые прорастают сами, то есть действительно живут. Так что бессмертие — это судьба, то есть продолжение той же жизни, но уже за гробом. Не завершенная при жизни жизнь — бессмертна, и не оттого ли наши поэты предпочитали гибель, в которой мы, по традиции, виноватым общество?

(...Самому Набокову, обносимому то Нобелевской премией, то какой-нибудь почетной мантией, то каким-нибудь еще «бессмертным» членством и чванством, ничего не оставалось, как пренебрегать подобными дефинициями, быть выше «этого» и, сетуя на непереводаемость русского слова «пошлость», презирать Фрейда с его «венской делегацией», похождения тихих донцов и Доктора Мертвого, социальных популяризаторов типа Оруэлла, или предпочитать стихи Бунина его прозе и назначать Ходасевича первым поэтом XX века, или призывать в наследники смельчака, который простым молотком трахнет по гипсовым головам Томаса Манна, Горького и Бальзака, и т. д. и т. п., что само по себе, по системе тестов кого-нибудь из «членов делегации», свидетельствовало бы о подавленном безразличии к понятию славы, то есть некоторой ревности к пошлейшим дефинициям места в литературе.

Сам Набоков был не чужд... чего стоит желчная меткость его определений: «парчовая проза» (Бунин), «лампочка, горящая днем» (Достоевский), или даже Гоголь («нос и желудок»), — не чужд, расставляя ученические отметки русской классике (тайная слабость наедине с Верой Евсеевной): то одному четверку с плюсом, то другому пятерку с минусом... и вдруг Турге-



нев обходит Толстого. И своим фанатам-набоковистам, зарождающемуся набоковедению, выставляет он пятерки и четверки независимо от заверений в преданности и любви).

Мне здесь хочется заявить, что Набоков, несмотря на ту нишу, в которую его засунут потомки, есть самый бессмертный писатель, бессмертный именно в категориях жизни, потому что бессмертие — его основная тема. И никому не известно, как оно ему воздаст за столь истовое себе служение.

Набоков — певец не жизни или смерти, и не жизни и смерти, и не жизни в смерти, и не смерти в жизни, а именно бессмертия он певец.

(Слово «бес» попуталось... пожалуй, оно тут ни при чем... скорее, тут попутал бес «красного словца»... «красное» нам зашло, и мы в эту сторону не пойдём... так что без-смертие.)

Без-смертие как состояние жизни.

Без-смертны именно весенние цветы, бабочки-однодневки и девочки лет двенадцати.

Бессмертен комариный укус. Он обессмертен крестиком, продавленным ногтем на лодыжке возлюбленной («Весна в Фиальте»).

Бессмертны потерянные ключи, когда ты стоишь на пороге первого любовного свидания («Дар»).

Бессмертен апельсин в руке матери («The Real Life of Sebastian Knight»).

Бессмертен неразбившийся стакан («Pnin»).

Бессмертна глуховатость мужа Лолиты.

Бессмертна ошибка, случай, опоздание, отсутствие, утрата, незнание — не встреча.

Бессмертна сама смерть.

Бессмертно все то, что уловлено взглядом и слухом и запечатлено.

Набоков изловил бесконечное количество бабочек, но и бессмертные его детали есть та же самая бабочка, но уже человеческого бытия.

Чтобы обессмертить реальную бабочку, ее надо поймать, заморить, препарировать, классифицировать (дать ей имя), поместить в прозрачный саркофаг для обозрения.

Требуется не помять, не повредить пылью крылышек...

Чтобы отловить деталь живой жизни, требуется ничего не повредить. Деталь нельзя удалить из жизни. Нельзя и пригвоздить к бумаге.

Для того чтобы постичь тот эффект Набокова, которым бесхитростно восхищаются его читатели, стоит задуматься, зачем он был так жесток с бабочками и как претворял опыт в метод. (Член «венской делегации» подсказывает мне словечко «сублимация», и я опять недослышиваю, как муж Лолиты: ась?)

Есть много суждений о неверии и чуть ли не атеизме Набокова, которые можно многообразно иллюстрировать из его собственных сочинений всяческими шпильками в адрес церковников. И тут я предамся в очередной раз своим мемуарам о Владимире Владимировиче...

В романе «Подвиг» (в который раз признаюсь, что моим любимом из русских его романов) я набрел на страничку с таким открытым признанием в Вере, что она одна (оно одно?) легко опровергала (о) все его прочие высказывания на ее счет или, скорее, ставила(о) их на подобающее место. Желая тут же процитировать это место, я его тут же не нашел. Как сквозь страницу провалилось... Будто он и не написал ее, а нашептал.

(Вот и сейчас — я пишу это в Петербурге — среди многочисленных постсоветских изданий В.В. не нашлось ни одного с «Подвигом». Так что опять странички той нет. А я-то хотел ее здесь как раз процитировать...).

Но один раз мне эта страничка все-таки открылась...

И опять начну вспять, с начала...

В 1991 году, как раз перед пресловутым путчем, я подыскивал для семьи дачу под Петербургом (тогда еще Ленинградом), желательно в районе Токсово, родного для меня места. Нас преследовала неудача. Отчаявшись, направились мы в противоположную сторону по случайному адресу, сорванному со столба ручкой нашей двенадцатилетней (sic!) племянницы. Гатчина... Сиверская... Что-то мне все это напоминало. В Гатчине — дворец и памятник Павлу — оба хороши, и оба оказались на месте; в Сиверской... два воспоминания нависли надо мной, то есть я не мог вспомнить. И оба наметились из одной точки — сочинения Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель». Трактир «У Самсона Вырина», перереставрированная до неправды валютная штучка, означил для меня поворот налево, и прямо передо мной, слева от шоссе, за мостиком, на холмике, открылось... некое равнодушие опять залило мне глаза, и я не посмотрел: мол, как раз поворачивать, надо за дорогой следить, и машина ГАИ как раз сторожит на пути взгляда. Не увидел.

(А невозможно было не увидеть! Свято место пусто не бывает, зато меня в нем нет. Есть у меня такой подсознательный оберег: ни разу в квартире на Мойке, ни разу в Михайловском, вот и в Рождествено — ни разу... а именно оно нависало над инспектором ГАИ, зарифмовавшим себя с Самсоном Выриным!)

Зато — как повернул, шлагбаум миновал, железнодорожные пути перековывлял, к мосту через Оредеж подъехал, уже в Сиверской, — смотрю: завод с отвесным красным обрывом и сосны поверху — видел я этот пейзаж, знаю его! хотя ни разу в Сиверской не бывал. Во сне видел. А откуда сон? Вспомнил (со слов мамы): перед войной мы тут дачу снимали... Так вот откуда этот берег! через полвека судьба вернула меня на то же

место, может, и в тот же дом, он ровно моего возраста оказался... Купил я его.

В прошлом году я побывал в раю. Рай размещался в Чителла Раниери, крепком, замечательно отреставрированном (со всеми удобствами) замке XIV века недалеко от городка Перуджа в Умбрии. Здесь меня настигла ужасная русская весть, что в Рождество сгорела дотла усадьба Набокова. Значит, четыре года уже я помещицествовал в двух шагах, да так и не сподобился... Два века благополучно простояла, дожидаясь хозяев, пережила Советскую Власть, в Набоковском фонде уже поговаривали о необходимости реституции, ибо Дмитрий Владимирович, сын и наследник, обещал тут же передать все в дар фонду в случае вступления в законные права... нате вам! то есть вот те на! Не побывал.

Из «рая» я переехал в Сиверскую. Тем более не собирался я разрывать сердце на пепелище... Но приехали немцы снимать телесюжет о Набокове, накрыли меня в моей письменной баньке. Пробовал я им изнутри баньки все про Владимира Владимировича рассказать, приблизительно в сторону его усадьбы в подслеповатое окошко указывая, — не прошел номер: им не символика — им вещь дай пощупать... и «Подвиг» на этот раз оказался под рукой, да страничка сокровенная опять не нашлась...

И повлекся я за ними (за немцами) на пепелище, которое и впрямь от дачки моей было в двух шагах.

Выбрались на шоссе и только повернули налево, как тут же мост через Оредеж, и «Другие берега» отворились сами ровно на том месте, где этот именно проезд и описан (у Набокова?), и не успел я сравнить открывшийся вид с описанием, как и усадьба открылась.

С трепетом и опаской бродил я по обгоревшим балкам, как канатоходец, и камера преследовала меня. Здесь подобрал я щедрый набоковский дар: прямо посреди пустого холла, прямо возле ноги... обгоревший томик Пушкина юбилейного года издания, ровесник Владимира Владимировича, так что мальчиком, здесь, вполне мог он его читать. И как музейщики, тщательно обшарившие пепелище, не подобрали именно его! (АНДРЕЙ! Сюда бы эту страничку! Томик-то жив?). Томик обгорел и стал овальным, в середине сохранился текст, окруженный изящным пепельным рюшем, как крылышко бабочки-траурницы. И здесь, в сквозящем на все четыре стороны света обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылся в одну сторону — тот самый мой довоенный пейзаж с красным обрывом, а в другую — храм Божий на соседнем холме. И, глядя на него, раскрыл я наконец «Подвиг» ровно в том, каком надо было, месте...

«Была некая сила, в которую она (Софья Дмитриевна, мать Мартына. — А.Б.) крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, любимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле

напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, — сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, — поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты по-смертную нежность».

(Вот и опять ровно на этом месте... текст «замерз», как в компьютере, и я, уже в Москве, не находил цитаты; а нашел ее здесь, в Переделкине.) И вот что еще замечательно: усадьбу уже начали реставрировать! Нет, не мэрия, не Министерство культуры, ни какая еще власть — «новые русские». Чистюля и Могила были их кликухи. Один составил себе состояние на общественных туалетах, другой — на кладбищах. Бабочки, нимфетки... С чего и начинать обустройства России, как не с туалетов и кладбищ! И музей как вершина треугольника.

Значит, так: Набоков — не такой, как мы думаем. Как и Пушкин, он не для нас писал. Скажем так: для чего-то еще. И вот это-то еще нам уже нужнее воздуха и воды. Россия «Других берегов» бессмертна. Набоков ровно на столетие младше Пушкина; Гоголь напророчил нам Пушкина как «нового человека» через двести лет; через три года мы отметим столетие Набокова и двухсотлетие Пушкина; кто же это родится у нас в 1999-м?

Набоков уже другой, чем мы. Раздвоение русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно в нем преодолено, претворено в мировой феномен непрерывности. Набоков не оправдал наших надежд — зато нам есть на что надеяться

после него. А теперь и после Бродского.

Тут и кроется разгадка ложного мифа о снобизме, высокомерии, элитарности, эстетстве: плебейское желание поиметь все сразу и сейчас — не удовлетворено. А то, что Набоков очень застенчивый, нежный, прозрачный, ясный, чистый, даже наивный писатель, еще рано нам открывать. Он сам запечатал это свое целомудрие множеством секретных печаток и тайных замочков, в которых дано сейчас только поковыряться кому-либо из наиболее тонких и незазнавшихся его читателей.

Он приснился мне однажды еще при его жизни. За подлинность я могу ручаться: во сне было по крайней мере две детали, о которых я в ту пору понятия не имел, и они впоследствии (уже после его смерти) подтвердились... Он был на голову выше меня (физически) и приехал в Ленинград инкогнито как энтомолог.

Идея конечности художественного текста намекает на его предшествование, на его наличие до его написанности, на его даже врожденность. Литература же, в таком случае, существует как данность, в смысле — дарованность. И только так хочется тут толковать слово «дарование», с сохранением движения внутри, глагольности. Дарование как посвящение, как Крещение. Суперзамысел, гиперзамысел есть, в таком приближении, не только развитие (имперское) литературного жанра как амбиции, но и тяготение к единству текста, тебе врожденного. Начиная с Гомера и кончая «Улиссом» же. Все постмодернистские идеи есть не столько результат развития и поиск пресловутого «нового», а возвращение к изначальности, к первому слову, зачистка врожденного нерва. Мир нуждался в Гомере, чтобы воспеть себя. Слепец не знал письменности. Платон ли автор самого великого героя мировой литературы, или Сократ нуждался в исполнителе, чтобы быть запечатленным? Что сгорело в Александрийской библиотеке? Не столетним ли усердием

авторов рыцарских романов сочинен «Дон Кихот» и записан одной рукою? На эти вопросы так же невозможно ответить, как и на вопрос, откуда Веды, Талмуд, Евангелие или Коран. Во всяком случае, если взглянуть на Евангелие как на жанр, то сюжет, пересказанный четырьмя очевидцами под одной обложкой, превзойдет любые авангардистские изыски, а как и кем он был продиктован или нашептан — другое дело.

Золотой Век русской литературы, если ограничить его трицей Пушкин — Лермонтов — Гоголь (так гипнотизировавшей, кстати, и Набокова), создавал в каждом и всего по одному: они пробегали по жанрам, как на тот берег по льдинкам во время ледохода: стихотворение — цикл — поэма, рассказ — повесть — роман, комедия — драма — трагедия, внезапность слова КОНЕЦ до воплощения ГИПЕРЗАМЫСЛА, потому что все написанное в целом как раз им и оказалось. Их ранняя, преждевременная смерть, столь справедливо нами до сих пор оплакиваемая, не более внезапна, чем их рождение, чем их текст. Текст переплетен в даты рождения и смерти с не нами определенной точностью и тщательностью, с наличием «Евгения Онегина», «Демона» и «Мертвых душ» внутри, как и сам Золотой Век переплетен в «Историю государства Российского» Карамзина и «Словарь живаго...» Даля.

Если определить текст как органическую связанность всех слов, от первого до последнего и каждого с каждым, то это слегка напомнит самую жизнь, в которой, в принципе, нет ничего отдельного, не связанного со всем прочим. Если же предположить, что Поэту (в высоком смысле слова) текст дарован от рождения, врожден, то окончание подобного сверткста означает и окончание самой жизни или обреченность на немоту. Подобная взаимосвязь жизни и текста именуется назначением, неуклонное следование назначению — судьбой, а воплощение судьбы — подвигом. Всегда хочется еще и еще раз подумать,



зачем Набоков назвал тот самый свой роман о возвращении на родину «Подвигом». Подумав, любопытно тут же отметить, как много у Набокова героев уже не в литературном, а в героическом смысле слова. Собственно, все его герои, включая преступных, ничтожных и униженных, еще и герои в прямом смысле слова: и Гумберт Гумберт, и Лужин, и Пнин. Решаясь определить пределы личного существования, они заглядывают за пределы, где жизнь существует в неподвластной форме — в форме безумия. И это определенный риск, отдаленно напоминающий писательский опыт. Там жизнь реальна, где не объяснена, где ее не объять умом. Набоков — реалист в том смысле, что именно реальную жизнь он пишет. Ее — мало. Она — бессмертна. Он ловит ее в свой сачок. Текст кончается и умирает. Жизнь, в нем запечатленная, остается бессмертной.

Прожив жизнь в жизни и жизнь в тексте, автор удваивает ее на ее бессмертную половину. Оставив после себя чистый стол.

Карл Проффер рассказывал, что у Набокова в последние его дни не осталось черновиков. Поверхность стола была чиста, как белый лист бумаги. Все было разложено, систематизировано, подшито. Аккуратные папки. Каков был бы энтомолог, если бы жучки и бабочки были разбросаны по кабинету...

Подобные воспоминания существуют об Александре Блоке: необыкновенная аккуратность и чистота стола, уже не энтомологическая, а «немецкая». Это дополнительно давало пошляку возможность говорить о его «исписанности».

Ничего, кроме исписанности, от писателя не требуется.

Им закончен дарованный ему текст.

Блок и Набоков переплетают нам Век Серебряный. Со всем, что внутри.

И с проклятием, и с молитвой

Жизнь не более, чем была...  
И обрезана, точно бритвой,  
Краем письменного стола.

Я вспоминаю, я воображаю, я мыслю...  
Легко сказать.

Попробуйте вспомнить память, вообразить воображение,  
подумать саму мысль.

Ничего не получится. Ничего, кроме гулкого свода...

Я хотел аукнуться — рот мой раскрылся и не издал ни звука.  
Здесь не было звуковой волны.

То есть не было воздуха.

В испуге я осознал, что грудь моя не вздымается. То есть я  
не дышу.

Я прижал свою руку к груди.

Оно не билось.

Я умер?

Превращение жизни в текст (воображение) подобно воз-  
ращению текста в жизнь (память). Память и воображение,  
таким образом, могут оказаться в той же нерасторжимой, взаи-  
моисключающей связи, как жизнь и смерть.

Опыт воображения, то есть представления жизни без себя,  
без нас, может оказаться опытом послесмертия, который каж-  
дому дано познать лишь в одиночку. Воображение — столь же  
бессмертная часть нашего существования, как сама смерть.  
Каждый из нас познает, приобретает опыт послесмертия вну-  
три жизни точно так, как получает с рождением память пред-  
шествовавших — самой жизни и человечества — генетически.  
И если мы люди, то не нарезаны на слепые отрезки жизни и  
смерти, как сардельки, а содержим всю череду смертей до свое-  
го рождения, как и всю череду последующих рождений в своем

послесмертии. И если это не дурная бесконечность (в случае самоубийства... перечитаем «Соглядатая»), то единственно осмысляемый нами отрезок может быть от акта Творения до Страшного суда, который не так уж страшен после всего пережитого, потому что вполне заслужен. То есть — до Воскресения. Между кладбищем памяти и воображением как смертью наша душа отрывается от тела ежемгновенно. Мы — живем.

Тайна, запирающая для нас вход и выход, рождение и смерть, и есть тот дар, та энергия заблуждения (по определению Л.Н. Толстого), с которою мы преодолеваем Жизнь, чтобы выполнить Назначение.

В этом смысле бессмертие нам назначено.

С отрубленной головой Цинциннат обретает своих.

Жизнь есть текст. И те три, девять, сорок дней, год, в течение которых (кажется, во всех конфессиях) мы перечитываем жизнь ушедшего от нас, переплетенную в его даты, — и есть изначальный жанр любого повествования: рассказа, повести, романа, эпопеи, — где именно замысел есть вершина, а исполнение — подножие, где нам все ясно в отношении конца героя, но не все еще домыслено относительно его рождения, и мы пишем вспять, возрождая его от смерти к жизни, в подсознательной надежде, что когда-нибудь и с нами так же поступят.

VII.

## *Больше, чем текст*

### 1. ПОЛВЕКА БЕЗ ПЛАТОНОВА (2001)

НУ ВОТ И НАСТУПИЛ НОВЫЙ ГОД. Новое столетие, новое тысячелетие... с чем можно было бы нас и поздравить, в том, в основном, смысле, что и 1999-й, и 2000-й прожиты, и мы еще живы, и слабоумие этого перехода можно считать почти законченным... если бы не одна замечательная народная примета, что год грядущий проживается так, как ты сумеешь прожить свое 1 января. Имеется ли в виду похмелье, неизвестно. Но может быть, и 2001 год в масштабах следующего тысячелетия является таким «1 января» для всего человечества, которое в большинстве своем состоит из нас с вами. Еще недавно, в декабре, в моде были анкеты и вопросы: что из XX века перейдет в XXI-й, что пройдет эту проверку, что тленно, что нетленно... и кое-как живущему авторитету, не уверенному в том, что он успел сделать в том веке и на что он способен в следующем, предлагалось поважничать для грядущих поколений... последний спазм затянувшейся дискуссии о многочисленных «концах» — то света, то литературы, то истории, то утопии, то

агрессии — всего того, что происходило на мировых интеллектуальных уровнях, затянувшийся на пятилетку кофе-брейк.

Ничего не кончилось. Ничего и не началось. Условность стала очевидной. И все-таки одна вещь только что кончилась, а другая началась. А именно — вся литература, написанная до 1 января, оказалась литературой прошлого века. А что написано 1 января века XXI-го, нам пока неизвестно.

Кого еще убьешь, кого еще прославишь,  
Какую выдумашь ложь?

То Интернета\* хрящ... скорее вырви клавиш, И щучью косточку найдешь.

Одна отечественная струна показалась мне, в свете этих многочисленных анкет, по-чеховски звучащей в тумане будущего: в начале века XX-го скончался наш замечательный утопист Николай Федоров, не успевший прославиться, будучи непрочитанным и неизвестным, но именно так проникший очень глубоко. Невероятная с точки зрения здравого смысла идея воскрешения всех мертвых как единственного пути для счастья и продолжения человечества, как практического способа победы добра над злом — вот эта истовая мысль не читанного никем философа оплодотворила, однако, еще в XIX веке умы Льва Толстого, Достоевского, Владимира Соловьева. Утопия как раз и работала. В XX веке, тоже не столько по чтению, сколько по какому-то внутреннему слуху, идея эта воплотилась в практике Циолковским и в искусстве Филонова, Платонова и Заболоцкого. И по-видимому, можно допустить, что XXI век сохранит из XX-го как раз то, чего не могло быть ни в XVIII-м,

---

\* Ундервуд — О. Мандельштам, «1 января 1924 года»

ни в XIX-м, а могло быть только в России: в частности, этих художников советского периода, потому что их совсем уж не могло быть. История утонет в прошлом веке, утопия — непотопляема. И вот — ЗНАК: между 1 января и Рождеством почти пропущена знаменательная дата: 50-тилетие со дня смерти Андрея Платонова. Мы можем встретить этот новейший век попыткой вспомнить этого человека. И таким образом отметить и то, и другое: здравствуй, XXI век — тире — здравствуй, Платонов.

Несмотря на достаточную условность разделения истории на столетия, некоторая симметрия веков все-таки наблюдается. Молодой век, старый век, и даже переключки. Набоков и Платонов родились в одном году—в 1899-м. Таких разных прозаиков и одновременно двух крупнейших представителей литературы XX века представить трудно. Такое впечатление, что литература XX века ходила в один и тот же класс в школе, если не в один и тот же детский сад. В 1899 году кроме этой гениальной двойки родились также Юрий Олеша, Леонид Леонов, Константин Вагинов, Надежда Мандельштам... если провести сравнительный анализ судеб и текстов этих урожденных детей XIX века, то станет жутко. И ничего менее общего и более жуткого, чем попытки этих людей оправдать или оправдаться, представить невозможно. Однако, опуская соблазнительное мечтание о том, кто же это у нас родился в 1999 году, и прозревая будущее литературы сквозь мокрую еще пленку, следует отметить, что столетия этих писателей выпали так густо, еще и объятые 200-летним юбилеем Александра Сергеевича, что многим не досталось нашего внимания по справедливости. И прежде всего — Андрею Платонову, погребенному под Пушкиным с Набоковым (в чем ни тот, ни другой не повинны). «Они любить умеют только мертвых...» И эта наша способность ока-

залась сомнительной... Так что это 50-летие его смерти, которое мы здесь отмечаем, спохватившись и снова опоздав, является лишь попыткой компенсации практически пропущенного юбилея 99-го года\*.

Судьба большого писателя в России каким-то образом называется и на его посмертии. Как будто текст его творчества продолжает не только учитываться, но и дописываться. Это стало традицией, частью нашего подсознания, ну действительно, посмертие Гоголя или Пушкина полно тех же мистических знаков, шуток, каламбуров, брежков, какими была наполнена и их жизнь. А посмертие классиков советского периода, помноженное на особые коэффициенты исторического времени, становится тем более впечатляющим. Скажем, даже истории с их захоронениями. Если Булгаков действительно произнес не только фразу про «рукописи не горят», но также и фразу «О учитель, укрой меня своей шинелью», то история с тем, как на его могилу улеглась плита с могилы Гоголя, не может быть объяснена никакой советской властью. Или если мы не можем найти, что объективно, могилы Осипа Мандельштама, и на этом безмогилье вырастает десяток свидетельств очевидцев, как и где он умер, или даже попытаемся впоследствии, исправив все исторические ошибки, все-таки воздать должное трагическим судьбам русских авторов, то и с памятниками начинаются какие-то гоголевско-виевские чудеса — «поднимите мне веки, дайте ЦК». К памятнику Мандельштаму, чудом воздвигнутому во Владивостоке в 98-м году, все-таки протягивается рука из небытия, отбивая и нос, и пальцы. Недавно прошел сюжет по телевидению о краже цветных металлов, ставшей

\* «Звезда», впрочем, почти единственная была своевременна: см. № 8/99. Были и подарки: выставка в Литературном музее в Москве или публикации «К развалинам Чевенгура» Василия Голованова, см. «Общая газета», № 3(373)

показательным бедствием нашего отечества, и среди прочих экономических и производственных потерь вдруг возникают потери культурные. Лежат бок о бок спиленный памятник Чижиху-Пыжиху и отпиленная голова Зошенко. А памятники каким-то чудом были открыты в один и тот же день. А теперь эти существа оказались рядом отрубленными. Все какие-то знаки, знаки, знаки... Свидетельства бесспорного варварства, но в то же время и еще чего-то.

Платонов похоронен на армянском кладбище, могила его цела, есть куда прийти. И 5 января это надо сделать. Судьба Платонова в основных своих моментах известна его читателю, а именно: рождение в Воронеже, в пролетарской семье, полная внутренняя молодая адекватность революции и изменениям, а потом, после слабых «кузничных» стихов, — вдруг необъяснимый прорыв гения. Гения, ни разу не узнанного и одновременно сразу признанного. Какой все-таки был гениальный критик наш вождь и учитель Иосиф Сталин. Ни одного гения не пропустил. И жирно-красным цветом написал поперек текста Платонова: «сволочь». И Пастернаку позвонил, чтобы распознать масштабы Мандельштама. В каждом случае реагировал с той же внимательностью, что и на Днепрогэс. А может быть, и советники были квалифицированные. Платонов не сидел, Платонов умер, заразившись туберкулезом от своего сына, который привез этот туберкулез из лагерей. Умер Платонов или погиб? Он прожил полвека. Ровно полвека в веке XX-м. И полвека его у нас в этом веке не было. Какая-то важная половинка определена именно житием этого человека. А смысл, дух его текстов оказался настолько опережающим время, что не только внешние цензурные и идеологические запреты остановили жизнь его прозы в нашем сознании, но все-таки и сама эта проза. И сегодня, здороваясь с Платоновым уже в XXI веке,



эта часть его запретности является более важной. Почему же так трудно его читать? Почему так трудно читать тексты, написанные предельно простым языком, предельно обедненным словарем, о предельно простых людях, о предельно ясных любому человеку ситуациях и положениях? В чем же состоит эта трудность, если все так сознательно облегчено? И вот — уже признак возраста — как будто бы раньше Платонова было легче читать. Платонов для моего поколения возник во время оттепели, год, наверное, был 58-й, вместе с Фолкнером. И до сих пор я не могу разъединить: те две книжки в своем сознании — «Семь рассказов» и голубую книжку «В прекрасном и яростном мире». Напечатано в обеих было то, что можно было напечатать. Хорошие, знающие и понимающие люди насытили обе в палец толщиной книжки максимумом допустимого. И мы охотились за этими книгами на протяжении целого месяца, каждый день спрашивая, не поступила ли. И наконец поймали. Начался запой Платоновым. Но это был запой чистого стиля. Книга Платонова была максимально освобождена от идейного содержания. Только нежность, только любовь, только дети. И совершенно новый язык. И это, так сказать, детское издание Платонова вполне сливалось с нашим детским же сознанием, а тоска по свежему, невостребованному стилю напаивала молодой стилистический голод рождающихся авторов. Так было в Ленинграде. Молодой автор жаждет невостребованного стиля. И поэтому должен что-то открыть для себя сам.

Платонову подражали, с тем или иным успехом, претворяли, и все это было все-таки внешним. В той мере, в какой писатели той волны осуществились, они впитали в себя по мере сил и возможностей его стилистику — и забыли. Сейчас она растворена в опосредованном виде. Когда, кстати, возникла в перестроечное время новая потребность невостребованного

стиля для новой волны начинающих открывать рот писателей, то таким невостребованным стилем вдруг оказался Л. Добычин. Наверное, и этот пропущенный стиль оказался растворенным в последующем письме, и Добычин дозревает до более самостоятельного прочтения. В конце концов, человека, который пишет ямбом, уже не упрекают в подражании Пушкину. Зато последнему русскому поэту, который все-таки сумел открыть свою поэтику и настоять на ней, Иосифу Бродскому, до сих пор, считается, подражают слишком многие. Имитируют. А потом ведь окажется, что просто так можно писать, «техника», и опять окажется важным, кто и что ищет. Если считать стилистическое влияние Пушкина или Гоголя, Платонова или Добычина, Заболоцкого или Бродского уже пройденным, тогда остается все-таки читать, что они написали.

И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием. Ибо, может быть, в силу торжественности момента, а может быть, и вправду я не знаю никакого другого писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жалость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что почти равны убийству. Любовь — вещь невыразимая, в этом большая часть ее содержания. О любви, про любовь — но не любовью же писать... Сокровенность, сочувствие, выраженные в платоновских текстах, сочувствие человеку, живому существу, обреченному на страдание и смерть, выражаются с такой силой, что как бы сам начинаешь страдать и умирать в той же мере, что страдают и умирают его герои, и это не область сладостного воображения и сопереживания от любого другого чтения хорошей литературы, а нечто большее, нечто почти психологически невозможное.

Получается, что чтение любой страницы Платонова еще является и очень сильным упражнением души. А душа, особенно растренированная, начинает болеть тоже как бы не по поводу того, что выражено в слове, а по поводу собственной неупотребленности, заскорузлости, невоплощенности, и таким образом сострадание оказывается состраданием не к другому, а состраданием к самому себе. Как будто в нашем нетренированном, неразвитом сочувствии, в нашей попытке сочувствовать другому выявляется вся безнадежность собственного положения.

Зачем же тогда такие тексты? И в ком они могут звучать? И страшно, и не нужно, и не хочется думать о перспективах XXI века, но они, безусловно, связаны с эсхатологией, наукой о конце света. Ибо что можно записать за бесспорную заслугу веку XX-му, это некоторое понимание места человека в универсуме, зарождение экологического мышления, накопленного, к сожалению, слишком дорогой ценой разорения всего живого и обеспечивающего жизнь. И в той мере, в какой эта жадность, и хищность, и жестокость человека оказались осознанными и претворились в опыт, в такой же степени и возможна жизнь на этой планете в веке XXI-м. И Платонов, необыкновенно тонко чувствующий, может быть, из утопичности еще федоровско-вернадского разлива, всю эту проблему, предчувствовавший ее, может оказаться вдруг писателем необыкновенно актуальным, ибо выражал он эту мысль о будущем человека в виде любви к нему и сочувствия к нему. А если представить себе более тяжкие перспективы выживания человека, то станет понятно, почему он пользовался такими простыми словами. Это какое-то ощущение пещерного еще христианства, пещерного и в дохристианском смысле, в платоновском. Я не знаю, не изучал и не думаю, что Платонов был знатоком Платона, а созвучие это, наверное, как-то могло на него влиять в любом случае,

и это знаменитое, расписанное Камю состояние платоновской пещеры и зрение целого мира через щель очень напоминает мне вхождение платоновского слова в жизнь. Вот какие слова мы подберем, когда утратим все? Может быть, на уровне именно чувства и большого страдания доходит и смысл сказанного Платоновым. Так что, провозглашая его через 50 лет писателем именно XXI века и писателем будущего, я не только радуюсь за судьбу гения, который может получить признание, наконец заслуженное, сколько опасаюсь того будущего, в котором он станет понятен. Но тогда-то он нам станет необходим как воздух. Ни одна идея не воплощалась в этой жизни. Просто в этой жизни что-то возникало, и тогда оказывалось, что до этого была идея. И христианство не возникло, а оно было в человечестве и до рождения Христа, 2000-летие которого мы и отметили как главный юбилей в этом безумном и слабоумном переходе из века в век. Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда еще ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя.

*8 декабря 2000*

Р. С. Не зная, с чего и как начать этот скоропалительный текст, я раскрыл однотомник Платонова в трех произвольных местах. Первое заставило меня усмехнуться над собою...

«— Чмокай на нее, чтоб ходила, — сказал Спиридон Матвеч. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои...»

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы» («Ямская слобода»).

Я потрогал свою шею и побрел по Платонову дальше...

«Чагатаев терпеливо жил дальше, подготавливая тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно» («Джан»).

Стало стыдно. Так. Дальше...

«Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания,—уже душа его явилась наружуизиссохшихтайниковеготела...» («Седьмой человек»).

Стало невыносимо. Это уже не писатель, это Платонов.

## 2. ЕЩЕ ПЯТИЛЕТКА (2006)

«Я все припоминаю, с какого месяца беззаконие началось, — и не вижу...».

АХ ВОТ ОНО ЧТО! Андрей Платонов был для меня всем, только не драматургом, а оказалось — еще целый том.

Вспоминается миф со Сталиным и Пушкиным. Мимо отца народов не могло пройти первое полное академическое собрание, поспешавшее к юбилею 1937 года: столетие гибели поэта было обозначено в «Правде» как «всенародный праздник». Сталин потребовал себе немедленно хотя бы один том. Пушкин в собраниях хорошо укладывается по жанрам в тома: два тома стихов, том поэм и сказок, том прозы и т.д...

Быстрее всего, однако, поспел том драматургии. Великолепный том, так и остающийся шедевром пушкинистики! Вождь, однако, отсек: «Народу нужен Пушкин, а не его комментаторы».

Платонову, вот кому хватило на всю жизнь сталинского вкуса! А мне, будто мое мнение что-нибудь значит, не хватало в Платонове именно полноты и комментария.

На мой взгляд, никто из русских прозаиков XX века не нуждается в той же степени в академическом издании, как Пла-

тонов. Он разделяет этот век пополам: в течение своей жизни свидетель и диагност, после смерти - пророк. Платонов почти весь черновой, настолько подлинный.

Он писал так (секрет мастерства!): на плохой бумаге твердым карандашом, сбрасывая исписанное в корзину. И мне никогда не удастся про Платонова, пока я не начинаю начерно: как придется и на чем попало.

Платонов же этим не ограничивался. Он начинал надеяться, что вдруг напечатают, доставал это из корзины и переписывал поверх уже чернилами. Слой тонул под слоем, и опять не печатали. Рай для графолога и текстолога! Только рукописи, хоть и «не горят» (у некоторых), но — рассыпаются.

Вы держите в руках наиболее полное на сегодняшний день собрание драматургии Платонова. Здесь не хватает уже некоторых страниц. Это окажется неожиданное чтение для апологетов нашего гения.

Не говоря о том, что чтение пьес является занятием сомнительным для ценителя прозы, пьесы Платонова и для самого автора были более испытанием себя в жанре, нежели усилием выразить то невыразимое, чем так особенно богат и ценен для нас его талант.

Чтение Платонова вообще занятие мучительное, настолько насыщающее. Пьесы же его, если с них начинать знакомство с великим автором, могут оказаться подготовкой и ключом к открытию его основных, более сложных и глубоких текстов, как «Котлован» и «Чевенгур».

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», как сказал тот же Пушкин. В пьесах за мыслью Платонова следовать легче. Его невероятный язык распределен по репликам персонажей так, что вдумчивый исследователь мог бы проследить и обратный ход: как из речи народной

сгушался невероятный язык платоновской прозы. Тут есть некоторая возможность попытки разгадать, как, упростив словарь своей прозы до пещерной (в платоновском смысле слова) простоты, Платонов повергает нас в столь глубокие философские смыслы.

Без Советской власти тут никак. Искренняя попытка понять порождает бессвязность речи - эта бессвязность порождает стиль — стиль порождает авторскую речь - она прививается к языку как к дичку... И язык - жив! Так что и без автора тут никак. Круговорот слова в океане речи.

Многие традиционно ошибаются, принимая дрстижения литературы как искусство, как результат так называемого мастерства, между тем только его отсутствие освобождает подход к реальности.

Платонов не столько писал, сколько пытался написать правду, как он ее видел, и эта попытка, прорывая текст, шла все дальше, все менее выражаясь, зато все более отражая реальность более непостижимую, чем замысел, порождая то чудо, которое уже можно называть искусством.

Платонов рискнул не уметь писать (Лев Толстой это пробовал).

Произведения такого рода неповторимы. Как неповторима жизнь.

Поэтому только хронология правильно соединяет произведения классика.

Так случилось, что, готовясь к этому предисловию, я первым прочитал последнее («Ноев ковчег»), а последним первое («Дураки на периферии»), и потом некоторого усилия стоило переставить их в сознании.

Эта рамка многое сообщает нам об авторе.

«Дураки на периферии» - главное издательское достижение этого тома. Пьеса публикуется впервые. Смех тут еще са-

тирический, то есть еще в надежде, что все образуется, только вот бюрократию бы победить (в конце двадцатых самые талантливые писатели берутся за «пережитки капитализма» как единственную возможность сказать хоть сколько-нибудь неподцензурную правду). Как прозаик Платонов уже живет в мире «Чевенгура», где ни о какой сатире не может быть речи — это трагедия. «Я живу на риск. — Ну, спаси те Христос. - Какой Христос? Бога теперь нет. - Как нет? А где же он? - Не знаю. Только нет. - Это почему ж такое? - А потому что я есть. Иначе б меня не было».

Иначе меня бы не было... Вдруг мама! Десятилетие общего исторического опыта (опечатка - топота): моего детского с его зрелым, дает мне некоторые моменты узнавания — то в фронтовом лубке, то в Пушкине, то в борьбе с космополитизмом. А мама-то еще в охматмладе работала! (См. «Дураки на периферии».) Что же может вычитать из Платонова мой сын и внук?

Он вычитает из него - сегодняшнюю нашу жизнь (после гласности и перестройки) - какую-нибудь «дуэль» по телевизору между депутатом и предпринимателем.

«Как странно», — подумает тогда молодой читатель.

Гений беспомощен: никакой возможности приспособиться ему не отпущено.

Голая сцена реальности, на которой гибнут люди («гибель хора», по определению И.Бродского). Кровоточащее сердце автора.

Какая бюрократия? Какая тут сатира?! Когда - голод. Голод пожирает народ, а страна объявляет все это победой... Не вполне расставшись с сатирой, Платонов пытается задрапировать ее покровом как бы утопии («Шарманка», «14 Красных Избушек»).

Включается образ осуществленного светлого будущего, и становится еще страшнее (обязательно читайте комментарии



к этому тому, чтобы понять, что это не плод писательской фантазии).

У этих трех пьес, писанных друг за другом, обнаруживаются общие структурные черты: перерастающая саму себя фигура бюрократа дополняется неким вымирающим дурачком, продолжающим искать светлое будущее, обязательно страдающей женщиной («Живу я среди вас и презираю») и достаточно внезапным и условным капиталистическим гостем (мода левых западных интеллектуалов).

Все это взаимодействует самым фантастическим образом и ничем хорошим не кончается.

Любопытно, в этих своих (более чем реалистических) утопиях Платонов начинает совпадать и с общемировыми тенденциями в литературе (Замятин, Хаксли, Чапек, Набоков, Оруэлл, вплоть до Маяковского и Чаплина, которого он, кажется, непосредственно любит).

Но именно Платонову суждено было расплатиться не фантазией, а жизнью.

Личных надежд не осталось («Пиши выписку из протокола о наших достижениях, а копию писателю Максиму Горькому».)

Начав разговор с черновики Платонова, следует отметить и пьесы его как более или менее черновые. Наиболее отделана «Шарманка». По сравнению с этой пьесой любая антисоветская литература покажется робкой. Потому что только Платонов умел так почувствовать и так передать человеческую боль. Он не сравнивал ее со своей.

Как ни парадоксально, война еще давала ему надежду: под-



виг народа повлияет на послевоенную жизнь (на это попались многие мыслящие люди). Надежда эта быстро захлопнулась: за чистейший рассказ «Возвращение» Платонову тут же все припомнили.

«Ноев ковчег» оказался последней работой Платонова.

Писатель расширяет покровы советской антиутопии до масштабов мировой. Казалось бы, прячется за тенденции начала «холодной войны»... Но он не Лавренев и не Симонов.

«Ноев ковчег» читать страшно именно сегодня, когда все то можно, чего Платонову было нельзя. Именно фигура бюрократа и политика разрослась от гласности до такой степени, что именно сегодня стала соответствовать многим формулам платоновских персонажей из давно прошедшего исторического времени.

Вздрагиваешь, как прежде: как пропустили?..

«Я не важный, я ответственный».

«Ты оттого и начальник, что никому не видим».

«Здесь что такое — капитализм или второе что-нибудь?»

«Давай возьмем курс на безлюдие».

Ничто не было реализовано на сцене (лишь в последнее, «гласное» время осуществляются театральные постановки, и то прозы, а не пьес).

Здесь нет места характеризовать пьесы, сочиненные так или иначе в надежде на реализацию (фронтной лубок, юбилейную пьесу о Пушкине, радиопьесу «Голос отца»), хотя всюду присутствует платоновская мораль и идея. Пьесы его все еще разгрызаются самой жизнью. Сцена Платонова все еще пуста.

*3 апреля 2006*

### 3. ЧИТАЙТЕ САМИ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ родился в 1899, на барьере веков XIX и XX, какой и мы недавно пережили меж XX и XXI, какой прошел Пушкин меж XVIII и XIX. Мы все еще не ведаем, кто у нас родился в 1999-м, через обещанных Гоголем 200 лет, не знаем, кто этот, а вдруг и впрямь новый, русский, первоклассник образца 2006 года, зато мы знаем сегодня, в XXI, кто родился через 100 лет после Пушкина: Платонов, Набоков, Олеша, Л.Леонов, Конст. Вагинов, Надежда Мандельштам, — вся проза, а если сравнить чудовищную разность авторских судеб, то и весь якобы противоречивый прошлый век. Умерев 5 января 1951 года, Платонов разделил нам прошлый век ровно пополам: в первой — сам участник и диагност, во второй — пророк, пророчества которого были нами не узнаны.

Отношение к Платонову как к самородку, выходцу из пролетарской среды, страстно исповедовавшему идеалы революции, внезапно ставшему ее беспощадным разоблачителем, настолько утвердилось, что стало фактом признания, а не постижения: самородок, мол, нечто необработанное и корявое. Самородок же чем хорош: откуда ни колупни (взятие пробы), всюду будет то же благородство золота. Благородство в самородке подразумевается, но не учитывается: мы его прячем в карман как собственную находку.

Любопытен в этом смысле следующий миф (кажется, подлинный): Хемингуэй, вошедший в мировую славу в тридцатые, объявил своим учителем Андрея Платонова (счастливый случай подsunул ему советский журнал с переводом рассказа «Третий сын»). В этом много снобизма, но беспорен и вкус.

В СССР Платонова тоже открыли сразу (Горький), потом сразу зарыли (Сталин), потом приоткрыли, потом окончатель-

но зарыли, потом снова открыли во время оттепели, но открытие это сулило неприятные новости для режима: Платонов успел его окончательно зарыть в «Котловане». Рукописи Платонова ушли в самиздат и на Запад, соответственно, попали еще раз под запрет в СССР. Остановить Платонова на родине уже было невозможно, и нам достался избранный Платонов, от издания к изданию расширявшийся на ту или иную повесть, тот или иной рассказ, прикрыта тем или иным оправдательным, кривозеркальным предисловием.

Сделанное Платоновым оказалось столь обширным, что и до сих обнаруживаются неопубликованные вещи (например, только что, пьеса «Дураки в провинции»). На мой взгляд, никто из писателей советского периода не заслуживает своего полного комментированного академического собрания сочинений как Андрей Платонов. Такое делается один раз, как делали у нас с гениями XIX века — Пушкиным, Толстым, Чеховым... но ведь и XX век — прошлый!

Платонов не только заслужил такое издание, но и нуждается в нем. У иных, может быть, рукописи и не горят; у Платонова — до сих пор горят (или тлеют, готовые в одну секунду вспыхнуть гоголевским каминным огнем). Дело в том, как он писал, как относился к собственным текстам.

Писал он быстро и много, безоглядно, твердым карандашом на плохой бумаге, скидывая исписанный лист в корзину (вспышки творческой продуктивности в конце 20-х — начале 30-х годов сравнима с Болдинской осенью), все меньше надеясь на публикацию. Иногда ему мерещилось, что что-то все-таки возможно, и он извлекал из корзины черновик, с тем, чтобы перебелить его. Правка наносилась уже чернилами поверх первого слоя. Изменения и дополнения бывали значительными. Расшифровать эти слои задача уже даже не текстолога, а

археографа. Дело в том, что Платонов никогда не был попутчиком. Придется воскресить этот подлый термин.

Значит, были писатели революционные, были мирные советские, были буржуазные и враждебные: эмигранты и внутренние эмигранты, но были и попутчики. (Потом уже, не менее подло, возникли сочувствующие, беспартийные большевики, просто беспартийная масса.)

Эта, вполне грамотно заваренная, идеологическая каша варится и до сих пор, все более незаметная именно тому, кто кажется себе носителем правды или свободы. Это отчетливо видно на нашем отношении к наследиям тех, кого уже нет, кто, в нашем понимании, окончателен, то есть стал добычей наследников. В результате, мы имеем все тот же супчик, иначе запрошенный («чем дальше в лес, тем толще партизаны», как сказано в народе).

Есть писатели прочитанные (в основном, из попутчиков и даже внутренних эмигрантов — Ахматова, Пастернак, Булгаков), неправильно прочитанные (в основном, из имевших прижизненное советское признание — Блок, Горький, Маяковский), недочитанные (Цветаева, Замятин, «обэриуты»), и непрочитанные (Заболоцкий, Зощенко, Платонов). Последних никогда бы не было, если бы не советская власть (достаточно косвенная ее заслуга). Их усилие выразить в языке то, что происходило в реальности, истинно ново, смело, органично и поэтично и не имеет ничего общего ни с каким новоязом.

Непрочитанные оказались непрочитанными не только потому, что их мало и поздно печатали, что касается и попутчиков и эмигрантов, а потому, что они оказались наиболее честны перед языком: они беспартийны и как большевики и как не — большевики, «... иначе следует признать, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отка-

зался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недалёковидным и легкомысленным.» О ком это? «А мы знаем...» — отвечает со своей непреодолимой интонацией Платонов. «А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях».

В статье «Пушкин наш товарищ», писанной к пресловутому юбилею 1937 года, загнанный в непечатность Платонов применяет и легкомыслие (в официозе) и храбрость (в мысли): «В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой»... Упомопрачительная, мандельштамовская мысль! Перечитайте еще раз и еще раз, чтобы уместить в сознание... Пушкинский Евгений, например, сошел с ума, а Пушкин нет... Платонов возвращается к придурочной интонации социального заказа: «Евгений с содроганием прошел мимо Медного Всадника и даже погрозился ему: «Ужо тебе!», хотя и признал перед тем: «Добро, строитель чудотворный!» Даже бедный Евгений понял кое-что /.../. И мы попытаемся.

Платонов равен режиму, он достоин трагедии, и в этом его величие: он знает свое место. Не Евгений погрозил пальцем Петру, а Сталин — Платонову, поставив свою жирную, кровавую, однозначную резолюцию на рассказах «Впрок» и «Усомнившийся Макар». И анализ «Медного всадника» звучит как собственно платоновский манифест равновеликости Истории и простого человека: «Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу». Никто, кроме Платонова, не углядел тут знак равенства.

*12 апреля 2006,  
День космонавтики в Швейцарии*

## VIII.

### *Память как герновик* (Чистый опыт)

В мои сталинские времена в школе, кроме октябрятства и пионерства, многое все еще сохранялось от дореволюционной гимназии, например зубрение стихов наизусть. Поэтому-то и остались ненавистными «Анчар» и «Я памятник себе воздвиг...», «Бородино» и «Смерть Поэта». Остались от них рожки да ножки: Бедный ребенок... Не зарастет народная тропа... Скажи-ка, дядя, ведь недаром ты выглядишь настолько старым... С винцом в груди... Короче: Весна! Крестьянин, торжествуя, идет, держась за кончик... носа, и т. п. Чтобы начать читать Пушкина, мне потребовалось много времени, чтобы его забыть. Свежей поэзией казалась лишь запрещенная. Она была так неординарна, так непонятна! «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» — влюблялся я в «Камень».

Я спросил как-то своего старшего друга Александра Блока (не нашего, а француза Жана Бло), как ему удается так хорошо сохраняться. Во-первых, плавание, а во-вторых, я каждое утро выучиваю одно любимое стихотворение наизусть, Бодлера или Рембо. С плаванием как-то хуже, а про заучивание мне запахло. Потом читаю в «Записных книжках» Александра Блока (не

француза, а нашего): «Онегина» целиком следует выучить наизусть». Это 1908 год... успел ли?

Пришло и мне время тренировать склероз, как в юности качать мышцы. И только так наконец стал я понемногу постигать Пушкина. Увлекся, для разнообразия решил поучить и из Мандельштама, из Заболоцкого, которых без усилия помнил в отрывках. Стало не хватать времени на Пушкина...

Но тут вот какой представился повод. Меня мучила бессонница. Я противник снотворного и нашел способ засыпать, повторяя про себя выученные стихи (их у меня уже накопилось), и на каком-то из них незаметно засыпаю. (Уверяю вас, это лучше подсчета слонов). Я повторил про себя весь свой запас, но в этот раз не сработало. В пятом часу утра я включил свет и раскрыл свежий номер «Нового мира»... В статье И. Сураг сопоставлялись «Бессонницы» Пушкина и Мандельштама. Одну, пушкинскую «Мне не спится, нет огня...», я и так знал наизусть, другую помнил лишь по «И с отвращением читая жизнь свою...», и будто впервые прочитал и был поражен.

«Бессонницей» Мандельштама я был когда-то с первого раза потрясен, его завораживающей красотой и непонятностью, помнил почти каждую строку, хотя наизусть тоже только первую.

Мандельштамовское я уже любил, в пушкинское только что влюбился и решил зазубрить их оба, благо существовали они на одном развороте. Этот параллельный процесс показался мне настолько поучительным, что я даже сделал кое-какие записи, которыми мне захотелось поделиться.

Стараюсь и никак не могу вспомнить, из кого это: «Поэту (та-та-та) даруется строка...» В смысле, одна даруется, а остальное попробуй напиши. Перед заучиванием и у Мандельштама, и у Пушкина я десятки лет помнил по одной. А вдруг, предпо-



ложил я, они и были «дарованы» поэту?

(У своих друзей-поэтов я давно отмечал такую ударную строку, на которой все и держится: иногда сильнее бывал вход, иногда выход; редко когда такая строка затеривалась внутри стихотворения. И запоминались в них либо начало, либо конец — по молодости лет, на всю жизнь, независимо от качества. Середина выпадала. Так мне и стало казаться, что стихотворение пишется либо снизу вверх, либо сверху вниз.)

Итак, начал я свою зубрежку с Мандельштама, как более запоминавшегося:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочел до середины.

Вторая строчка запомнилась сразу, как вспомнилась. Далее память стала оказывать сопротивление.

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,  
Что над Элладаю когда-то поднялся,  
Как журавлиный клин в чужие рубежи —  
На головах царей божественная пена...

Эта «божественная пена» плохо запоминалась. Я пытался ее оправдать то брызгами, когда корабль рассекает волну, то древнегреческими белокурыми кудрями... все равно не хотела запоминаться (а потом, когда начерно выучил все стихотворение, она, эта пена, всплывала прежде прочих, более значимых строк).

Я уже написал, что нашему сознанию труднее всего дается запоминание 50 на 50. Так, если бы при нажатии выключателя не загорался свет, то вы бы с огромным усилием и не сразу запомнили его позиции. (Сколько раз вы шелкнете туда-сюда, пока убедитесь, что таки да, лампочка перегорела или что света

нет.) Так выпадали у меня из памяти то выводок, то поезд, как синонимы они работали 50 на 50. Так срабатывал и дважды повторенный эпитет журавлиный: запомнишь один — забудешь другой.

Мое припоминание стало выглядеть как восстановление утраченного текста. Не так же ли, восхитился я, ставя себя на одну доску с гением, само стихотворение есть списывание, подглядывание за собственное плечо, будто сам себе отличник и Муза сосед по парте. Черновика немного стыдно, даже страшно, словно учителя, что бродит по рядам, как между строк («Черны мои черновики, чисты чистовики», — напишет однажды Рубцов). Ученичество! Поэт (если он Поэт) не умеет писать.

Реконструируя стихотворение по памяти, столкнулся с технической трудностью: как прохронометрировать постепенность его проявления? Тут-то и обнадежило меня предположение, что так оно и писалось: дарованное-удачное-необходимое-сносное-безразличное, — но эту последовательность, в свою очередь, трудно запомнить. Еще труднее брать на себя ответственность за определение неравноправности слов заведомого шедевра.

Наконец я осилил все стихотворение...

На головах царей божественная пена.  
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,  
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

Однако рифма то подгоняет, то подгоняется. Рубежи не мог запомнить до самого конца. Они были нужны лишь для мужей, как и пена для Елены. Дальше стало легко:

И море, и Гомер — все движется любовью.  
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит  
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Самым последним никак не запоминалось это витийствуя. Но и его одолел, будто вспомнил, будто сам все написал, будто вписал его последним: ладно, и так сойдет.

И каким коротким и простым оказалось все стихотворение!

Сложнее было с «прозрачным» Пушкиным.

В пять утра все запомнил, к восьми все забыл. (А Мандельштам — назубок.)

Во-первых, я совсем не помнил, что оно называется «Воспоминание» (что называется, в тему).

Когда для смертного умолкнет шумный день  
И на немые стогны града  
Полупрозрачная наляжет ночи тень  
И сон, дневных трудов награда...

Эти строчки вспомнились с последовательной легкостью, будто сами написались, сверху вниз. Хотя где-то впереди висела сквозь жизнь запоминавшаяся, как хлыст, строка:

Но строк печальных не смываю.

С нее-то и началось для меня запоминание (восстановление) стихотворения, с конца вверх.

Труднее всего оказалось запомнить слова, связанные с описанием света и времени (возможно, борьба поэта с тавтологией и синонимами является более технической стороной поэтической работы): в то время для меня... в бездействии ночном... безмолвно предо мной...

Вспоминание строк оказалось перепутанным в такой непоследовательности:

Змеи сердечной угрызенья  
Часы томительного бденья  
Горят во мне... В то время для меня  
Влачатся в тишине

Итак:

В то время для меня влачатся в тишине  
Часы томительного бденья

Третью строчку здесь у меня назойливо выбивает строчка из прежней памяти, из совсем другого стихотворения:

И пробуждается поэзия во мне  
Усилим вытесняю ее, чтобы далее, дыряво, запомнить:  
.....сильней горят во мне  
Змеи сердечной угрызенья.  
(При чем тут змея? Однако сразу заползла в память.)

Мечты кипят. В уме.....  
Теснится... дум... тяжких... избыток  
Вспоминание свой.....

Зато окончание стало сразу и окончательно:  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

*В бездействии ночном* — вот что никак было не запомнить.

И вовсе не сильней, а живей!  
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской  
.....  
Воспоминание безмолвно предо мной.

(Курсивом выделено, что упорно не запоминалось.)

Значит, подумал я, забытое мною принадлежало уже технике, отделке, рифме. Там, где я, внаглую, подменял пушкинские слова своими, там и он сам уже лишь подбирал что получше.

Этот, пардон, хронометраж был зафиксирован в День сталинской конституции. В следующую ночь, пытаясь уснуть, Мандельштам легко вспомнил всего, а с Александром Сергеевичем опять начались выпадения: какой там у него был «ум»? неужто «праздный»? какие «думы»? может быть, они были «праздными»? или «тяжкими»? Да, позволил себе рассуждать я, эпитеты для Пушкина были менее важны, чем для Мандельштама: определялись в музыку, в размер. Мандельштам же их изыскивал поярче, даже меняя стих в угоду... оттого они у него блестят, как шляпки гвоздей.

Тут бы мне следовало укоротить свою крутость, чтобы перейти к выводу: о чем бишь все это? Я побоялся проводить свой чистый опыт дальше, но затаил мысль, что если у шедевра не сохранился черновик, а лишь беловик, то последовательность его запоминания при заучивании наизусть воспроизводит нам первый, черновой проект автора (такая вот виртуальная археология, достойная секретных лабораторий ФСБ).

*10-13. II. 2007*

Р. S. Заключение экспертизы.

«Засекреченный Мандельштам сознался во всем и стал нам понятен, хотя и не близок. Родной и открытый для всеобщего доступа Пушкин ушел в глухую несознанку, хотя и не отказывается от данных им ранее показаний. Считаю открытие новой секретной лаборатории несвоевременным».

Завсектором рацпредложений  
Подполковник А. Боберов

Р. Р. S. Заключение пушкиниста, члена-корреспондента РАН Л. Н. Одоевцева.

«По поводу Мандельштама ничего не скажу: вряд ли сохранились какие-либо черновики его «Бессонницы»; по поводу же пушкинского «Воспоминания» «метод Битова» вызывает бездну вопросов и сомнений. Не так уж сложно было бы автору заглянуть хотя бы в академическое собрание: пушкинский черновик сохранился достаточно полно».

Определить, какая Пушкину была дарована строка, нет возможности. Черновая рукопись начинается:

Есть  
Давно день — и тихо ночь  
На стогны града

Далее же все проявляется и прописывается с подыскиванием рифм и эпитетов, в последовательности известного нам текста:

налегла-мгла-легла=день-тьнь // отрада-награда // нисходит-слетает-наляжет // В безмолвии-В бездействии //встревоженном-подавленном // горьких-грустных-тяжких // мрачный-длинный-мрачный-долгий-длинный // Читаю жизнь мою-И с отворачиванием

читая жизнь мою // И содрогаюсь и-И томно жалуясь-И горько жалуюсь // заветных-печальных...

Все это может свидетельствовать о предпочтениях, но никак не о безразличии к эпитетам.

Так что первым словом стихотворения является слово Есть, которое далее в стихотворении не встречается; ночь утопает в прошлом: Есть, которого нет. Лучше бы Битов ответил на вопрос: почему Пушкин отверг вторую половину стихотворения, над которой столь же упорно работал?

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,  
В безумстве гибельной свободы,  
В неволе, бедности, в гоненьи и в степях  
Мои утраченные годы.  
Я слышу вновь друзей предательский привет  
На играх Вакха и Киприды,  
Вновь сердцу (памяти?) наносит хладный свет  
Неотразимые обиды.  
Я слышу (гнусный шип), жужжанье клеветы  
Решенья глупости лукавой  
И шопот зависти и легкой суеты  
Укор веселый и кровавый —  
И нет отрады мне — и тихо предо мной  
Встают два призрака младые,  
Две тени милые — два данные судьбой  
Мне ангела во дни былые —  
Но оба с крыльями, и с пламенным мечом  
И стерегут — и мстят мне оба —  
И оба говорят мне мертвым языком  
О тайнах счастья и гроба.

Это только кажется, что все плохо и ничего не получается. Представления заслоняют.

На самом деле и удача сопутствует, и справедливость торжествует.

Я родился в том самом тридцать седьмом, но зато в день основания Ленинграда (б. С.-Петербурга), решимость моих родителей подкреплена сталинским законом о запрещении абортов.

Я родился в самом переименованном городе самой переименованной страны, но вырос в самой непереименованной их части: на Петроградской стороне, на Аптекарском острове, на Аптекарском же проспекте, напротив Ботанического сада, в доме «модерн», успевшем построиться до революции.

Оттуда начинается моя память: блокадная зима 1941— 1942 года.

В 1967-м я переехал на Невский проспект, поближе к Московскому вокзалу. В 1972-м мигрировал в Москву, в Теплый Стан. В 1979 году оказался без дома. Без работы, без семьи, без денег — без всего, кроме автомобиля. Ночевал по друзьям, по мастерским: найти меня было невозможно. Никто и не искал.

Так проходит год. Теплый Стан переименовали в Профсоюзную улицу, заезжаю я по какой-то более чем редкой надобности к бывшему теперь тестю в Кузьминки. Звонок. Вот те на... Кузнецов, Феликс Феодосьевич.

- Ты развелся?
- Да.
- Тебе негде жить?
- Да.
- Мы дадим тебе квартиру.
- Дареному коню...



И получаю я ордерок на Краснопрудную улицу. Кстати, оказалось, непереименованную, «краснота» в ней от XVII века.

И вот что любопытно: моя последняя квартира в Ленинграде была у Московского вокзала, на третьем этаже, под номером 28, а эта — у Ленинградского вокзала, тоже на третьем и тоже 28.

Конечно же, я согласился, думал: да будь я космонавтом и закажи себе подобное совпадение, никакой Гришин меня бы не послушал. Долго потом друзьям судьбою хвастал. Теперь привык.

Биография, как и история, — это то, что получилось, а не наоборот.

То, что у нас с кладбищами напряженка, я запомнил с 1954 года: бабушку не удалось положить к дедушке. Дедушка был историк и, провозгласив, что через год пол-России будет висеть на фонарях, скончался от сердечного приступа за год до «катастрофы», оставив бабушку с четырьмя детьми в возрасте от пятнадцати до семи лет, и был захоронен рядом с отцом и сестрою на Новодевичьем (в Петербурге) кладбище. Дедушкино кладбище было «закрыто», поговаривали, что начальство ждет, когда оно (кладбище и начальство) окончательно вымрет, чтобы приспособить под собственные нужды. Наконец бабушка упокоилась на Шуваловском, тоже закрытом, но просто, не на ведомственный замок. Вид отсюда открывался замечательный: с облесенного соснового склона на Шуваловское озеро — блоковская строка. «Все чаще я по городу брожу. Все чаще вижу смерть — и улыбаюсь улыбкой рассудительной. Ну, что же?..»

В 1958 году не стало Азария Ивановича... Это был наш не кровный родственник, с 1919 года самый близкий семье человек. И опять цитата: «Между ними сложные отношения... такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете... И вы, получая... по двугривенному за пакость... куражитесь над ними,

над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят».

У него никого, кроме нас, не было. И мы, воспользовавшись уже установившимися связями с администрацией кладбища, выдав его за двоюродного брата бабушки, захоронили Азария Ивановича в непосредственной близости, чуть выше по склону, так что с одной могилы хорошо видно другую, через дорожку. Ограниченное дорожкой и склоном, ему досталось неожиданно большое место. Вдвое длиннее поперек, чем вдоль, так что рядом образовалось пустующее место, но земля эта была уже наша. Так что когда в 1977-м не стало папы, мы, пользуясь уже как бы и законным правом, выдали папу за двоюродного брата Азария Ивановича. Дело в том, что фамилии у всех троих были разные. Непереименованные.

В 1990-м, когда не стало мамы, мы жили уже в Переделкинe; она хотела только в Шувалове.

И вот как единственно можно было это сделать: либо к законному мужу, либо в ту же могилу к матери; теперь она лежит между двумя «братьями», и ее крест возвышается над ними.

В линейку, по-над озером: дядя Аза, мама, папа.

Напротив мамы, ниже по склону, как вершина треугольника, бабушка.

Ровный такой треугольник, почти равнобедренный.

В головах у бабушки выросла огромная полувековая береза.

Моя семья живет теперь в Петербурге (б. Ленинград), внучка моя несколько старше своего дяди, живут они через улицу и друг к другу в гости ходят, как брат и сестра, и фамилии у них разные, и когда я выхожу с поезда в левую арку Московского вокзала, то первый дом в городе, открывающийся в арке моему взору, — мой. Квартира опять же на третьем этаже. Правда, номер все-таки не 28.

Тот жил и умер, та жила  
И умерла, и эти жили  
И умерли; к одной могиле  
Другая плотно прилегла.

*4 апреля,  
Перedelкино*

## IX.

### *Памятник последнему тексту*

Писатель дворянского класса  
Граф Лев Николаич Толстой  
Не кушал ни рыбы, ни мяса,  
Ходил по аллеям босой  
Жена его, Софья Андреевна,  
Обратно, любила поесть.  
Она не ходила босая,  
Спасая дворянскую честь...

195

И т.д., до бесконечности. (Нынче, в Интернете, под текстом стоит дата 1947-1951, т.е. что ни на есть текст из зоны, но я подозреваю, что он слагался еще раньше, до 1917-го.)

В любом случае, это фольклор, т.е. наиболее народная реакция на образ его величия.

И это еще до того, как мы стали его «проходить» на уроках литературы, где он нам особенно надоел уже не только борода-тыми портретами, но с помощью Горького и Ленина: «Экакий

человечище!» и «... как зеркало русской революции».

А ведь не было еще и слов-то таких как диссидентство или имидж, а мы уже, не сговариваясь, не воспринимали ничего, что пованивало идеологией или пропагандой. И я не уверен, что теперь столько же свободы.

С этого начинается мой Толстой, и слава Богу, что я писал в школе сочинения на тему «Наташа и Андрей» или «Наполеон или Кутузов», ни разу не раскрывая неподъемную книгу. Это был ИХ Толстой. Я лишь завидовал своему дядюшке, который с наслаждением перечитывал СВОЕГО Толстого, только что отвоевав СВОЮ войну.

Да и мне пришлось для начала окончить школу, пройти стройбат и угодить в шахтеры, чтобы на Кольском полуострове, от первой до последней буквы добыть для себя золото войны и мира. Преодолеть этот текст было не легче работы в забое, но какой же это был восторг для тайком уже пописывающего автора!

Прошло уже полвека, а я все еще надеюсь успеть перечитать эту книгу.

И именно тогда меня восхитило не только богатство, но и необычайная художественная жадность Толстого. Например, княжна Марья, благословляя брата Андрея на войну, надевает ему на шею простенький серебряный крестик, а мародер-француз сдирает с него убитого тот же крестик, уже золотой.

И это был уже МОЙ Толстой.

Невозможно постичь, что нам нравится и за что. Особенно в литературе. У одних прекрасна краткость, у других - наоборот. Т.е. мы не понимаем. Это - вера. Мы пытаемся объяснить ее себе, как оправдываться. Слов получается все больше, т.е. мы от нее (веры) удаляемся.

Вера - это точка. Точка, из которой мы вышли, а потом все

хотим в нее вернуться, навсегда запомнив, что она таки была и есть. Бог не требует доказательств, а мы все их ищем, а не Его.

Толстого попросили сформулировать смысл романа в двух словах. Я бы на его месте ответил, что он и так в двух словах, если И не считать. Он же, если я правильно помню, ответил: Если бы я мог короче, то и написал бы короче, а мне потребовалось столько, чтобы сказать всё как можно короче.

Примечательно это ВСЁ. Эпос как раз и рассказывал всё, в еще дописьменном виде Книга - гениальноеобретение цивилизации, но именно она погубила эпос, разбив его на кирпичики историй, сюжетов (книжек), из которых эпос можно сложить лишь в библиотеку, погребая в себе явленный нам цельным мир. Ужас! Однако пафос Библии, одной книги как Всего и единого целого, сохранился как подсознательная литературная амбиция. Но всюду это уже как бы, с пародийным оттенком, не говоря о «Гаргантюа» и «Дон Кихоте», даже у серьезнейшего Данте это «комедия».

Усилие собрать мир воедино становится не только непосильным, но и несерьезным: у Бальзака и Гоголя пародируется уже Данте.

Насколько же простодушной и детской должна сохранить вера в возможность воссоздать нормальное и очевидное!

Наверно это и называется идеализм. Однажды мне пришлось наобум рассуждать о немецком менталитете и, опровергая миф (что всегда безнадежно) о пресловутой скупости и экономности, мне удалось додуматься и до счастливой формулы: только идеалист способен пожалеть материю (недавно, рассуждая с водителем о надежности немецких автомобилей, я понял что и она от жалости к металлу). Русский идеализм весь растворен в категории честности (которой так мало).

Сколько же может быть идеала и нормы в одном человеке?

Представьте себе такого преувеличенного не в возможностях гения, а в возможностях нормы человека - получите Толстого. Такой невозможный раздутый младенец как реклама Мишлен. Зрелище не для слабонервных. А каково было ему самому?!

Великое недоумение человека перед Богом, верующего перед церковью, гражданина перед обществом, писателя перед литературой сопровождало его всю жизнь. Так что это не Толстой противоречив, а наши суждения о нем, никак его нормы не достигающие. Не по силам, не наша это мера. Нам остается, как в том замечательном рассказике Куприна перепутать анафему с аллилуйей.

Подайте, подайте ж, граждане,  
Я сын незаконный его.\*

P.S. Набоков проиллюстрировал это для витаминных американских студентов наглядно. Войдя в аудиторию, чтобы объяснить им, что такое русская литература, он распорядился поплотнее задернуть шторы. Темно? - спросил он и, получив подтверждение, попросил включить один софит. Стало светло? - спросил он. - Это - Пушкин. Теперь включите второй. Светлее? Это - Чехов. Теперь раздерните шторы. В аудиторию вошел солнечный свет. Это - Толстой!

(Думаю, что для Набокова, хотя и модерниста, еще не существовали слова *happening* или *performance* в современном значении.)

---

\* Выступление на конференции «Мой Толстой» 15.11.2008 в Харденберге (Германия).

Толстой признан как эпик и как классик-реалист. Я хочу здесь немного сказать о нем как о модернисте.

Недавно, по примеру Набокова, я решился на подобный хэппенинг. Директор Музея изобразительных искусств имени И.В. Цветаева в Москве пригласила меня поучаствовать в вечере, посвященном Прусту (в связи с экспозицией импрессионистов «в сторону Бергамота»). Сначала шли артисты, интеллектуалов оставили под конец, чтобы публика не начала выходить раньше срока. Я был последним. Приготовил, как выражаются музыканты, «фишку».

Помогла мне в этом Лидия Гинзбург (1902-1990). Я вспомнил ее рассуждения о том, что Пруст со своим психологизмом может быть рассмотрен как продолжатель прозы Льва Толстого, что и пресловутый поток сознания найдем мы у него задолго до Джойса. В доказательство приводились неоспоримые «Война и мир» и «Анна Каренина», но так же была упомянута некая самая ранняя неоконченная проза. С этим смутным воспоминанием позвонил я просвещенному другу Сергею Бочарову с вопросом, что Л.Я. Гинзбург могла иметь ввиду. Бочаров уверенно назвал «Хронику вчерашнего дня», первый суперзамысел юного Толстого: просто-напросто и всего лишь взять и описать полностью один день. Это был прустовский по блистательности текст, захлебнувшийся в замахе «Улисса». Описание бала (будущий бал Наташи Ростовской?) всего лишь проба пера молодого офицера за несколько лет до «Севастопольских рассказов».

Бочаров передо мной прочитал свой уточненный и утонченный перевод из Пруста (смерть Бергамота), и я подхватил эту линию: мол, и я перевел, несмотря на никакое знание французского, неизвестного русскому читателю совсем уж раннего Пруста, мол, простите и его и меня. И я прочитал им «Хронику одного дня».



Конечно, «элитная» публика, в основном, не читала ни Пруста, ни даже Толстого. Но те, кто читал, не знали этого текста и не заметили подвоха: сочли меня эрудитом по Прусту.

Зал однако продолжал ждать от меня еще чего-то. И я прибавил Прусту еще и будущие заслуги Джойса.

Но и этого было мало. Я молчал, но и пауза не помогла. Тут меня осенило.

«А вообще-то, - сказал я. - Пруст тут не при чем. Не его мы любили, а запрет на него. И знаете, за что мы вообще любили переводную литературу? За то, что нас не выпускали за границу».

Зал начал оживать. Это меня смутило.

- Нет, я не о том, что вы подумали... на самом-то деле, мы любили иностранную литературу за то, что в ней в советских условиях сохранился нормальный русский литературный язык; именно в нише перевода укрылась недобитая интеллигенция, еще помнившая языки. Это подозрительное знание давало ей кусок хлеба, которым она исподволь накормила нас всех.

Зал воспринял мой пафос и заплодировал, полагая, что это конец. Но я уже не унимался.

- Власть была слишком озабочена, чтобы не упустить главного: не перепутать национализацию с наследием.

Вся национализация классики выразилась в корявых предисловиях, которых никто не читал. Зато сами тексты сохранялись как достояние. Их мог бы прочесть незамутненный ум, если бы не школьное преподавание. Так что не Пруста, а Толстого уже никто не читал. Я вам только что прочитал раннего Толстого, а не Пруста. Простите.

И я сошел со сцены. Зал больше не аплодировал.

P.P.S. Моя замечательная переводчица на немецкий Розмари Титце, корпя над повторным переводом «Анны Карениной», изучая в связи с этим все вокруг, посетила и Ясную Поляну. Она мне сообщила, что там есть беседка, в которой часто сиживал маленький Толстой. Беседка возвышалась над трактом, по которому мог проезжать Пушкин. Во всяком случае, Левушка однажды обратил внимание на одного чем-то выделявшегося курчавого пассажира. Предположение достойное мифа.

Тут припомнилось мне и собственное посещение Ясной Поляны. Правнук Толстого Владимир Ильич тогда только начинал скрытую реиституцию имения в должности директора. Гены заработали, и дело пошло. Были затеяны и первые «Яснополянские чтения», приуроченные к дню рождения Льва Николаевича. Не зная, что удастся сказать, я прихватил с собою замечательную книгу. Не знаю, как это мне в свое время свезло купить ее походя на развале за студенческую копейку. Это был том неопубликованных произведений Толстого, выпущенный сразу после его смерти. Он был объема и цвета будущего 90-томника.

Но, что меня и тогда поразило, а тем более поразило в автобусе, везших наших писателей на поклон к классику, сколько же оказалось там Всего неопубликованного! Тут и национализированный МХАТом «Живой труп», и любимое детище самого Льва Николаевича «Хаджи Мурат», и ряд небольших произведений (рассказ «Алешка-Горшок», который Александр Блок назвал лучшим рассказом русской литературы (повидимому, он читал то же издание), и опубликованное разве что за границей, примечательнейшее эссе «О патриотизме»... в общем, много всего оказалось и после смерти, как и самого Толстого - много.

Волшебные сентябрьские деньки! Толстых съехалось со

всего света. Писатели подозрительно косились на них, непредставленные. Их родной мужик в посконной рубаше, с нечесанной бородой, босой, с косой в руках, казался не имеющим никакого отношения к западным родственникам.

Как-то все-таки подзабылось за советское время, что он еще и граф, между прочим, и что не все бы тут при нем по его усадьбе шастали.

Наконец, все чинно расселись, рассуждая о величии и значении простого русского графа. Основной мотив сохранялся: близость к простому и русскому народу. Мне нечего тут было добавить, и так само сложилось, что слово мне было предоставлено в последнюю очередь. Я не знал что, но в руках у меня был спасительный посмертный том, и я заявил, что пора бы предоставить слово самому Льву Николаевичу и зачитал его соображения о патриотизме как о «последнем прибежище негодяев». Фо па.

В Ясной Поляне меня занимало что-то свое.

Например, я как бы понимал, зачем в огромном доме граф работал в самой неудобной подвальной комнатке за самым крошечным столиком.

Или, например, зачем валялась в траве на боку пудовая гиря, с которой Лев Николаевич баловался до старости. Как же он над собой работал! ...как над текстом.

На поле между Ясной Поляной и следующим толстовским имением баловались молодежные дружины из Тулы, любители старинных битв: сражались на своих картонных мечах, целились в кочан капусты из лука. Я не попал по мишени и пошел одиноко пешочком, насколько удавалось вдаль. Тут внезапное воспоминание привиделось мне в густой траве: будто так начинался не перечитанный мною «Хаджи Мурат». Сломанный репейник, все еще продолжавший жить!

Нет, не даром был так прижимист с публикацией «Хаджи Мурата»! Будто ему еще и еще раз необходимо было что-то в нем улучшить. Это уже когда он привык к упрекам, что перестал быть художником и слишком увлекается поучениями и проповедью, Лев Николаевич занял тут вполне пушкинскую позицию:

...Ты сам свой высший суд,  
Всех лучше оценить умеешь ты свой труд.  
Ты им доволен ли, взыскательный художник?  
Доволен? Так пускай толпа его бранит  
И в детской резвости...

«Детская резвость» новой толпы уже мало волновала великого старца, и он свысока не захотел переубеждать ее. «Хаджи Мурат» слишком нравился ему и он охранял его как доказательство художнической состоятельности.

Идея «Памятника последнему произведению», приуроченного к столетию со дня смерти Льва Толстого восхитила меня. Исполвиль я расспросил правнука можно ли установить место, где Льва Николаевича посетил замысел «Хаджи Мурата», ведь оно с такой выпуклостью описано на первых страницах повести.

Владимир Ильич согласился со мною.

Памятник, в моем представлении, должен был бы представлять стоящий на стелле кованный сломанный репейник, эскиз которого так точно выписан Толстым\*. К этому можно

---

\* «... Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал вверх».

было бы приурочить факсимильное издание посмертного тома 1911 года.

Исполнитель тут как тут. Алексей Лукьянов, кузнец из Зла-тоуста, кстати отличный прозаик.

«Летят за днями дни»... и вот уже только год остался на исполнение замысла.

Хотя бы раз в жизни успеть что-либо вовремя!

7 сентября 2009

---

Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братья кругом его.

«Экая энергия! - подумал я. - Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот такая. Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в кривившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет».

(Страница цитируется на одной из граней стеллы. На другой может быть посвящение «Последнему произведению», к Столетию ухода Л.Н.Толстого.)

8 февраля 2010

## X.

### *Буква и судьба*

Полуписьменные сочинения

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ отец научил меня игре в слова. Мне она понравилась гораздо больше, чем игра в города. Бралось некое длинное слово, и из его букв составлялись слова поменьше, выписывались в столбик, потом сличались, совпадения вычеркивались. Ценились полновесные, одинокие слова: такие как кот—ток или кит—тик вообще отбрасывались. Побеждало острословие, своего рода русский пазл.

Лет через тридцать после этого опыта я мог себя заставить изобретением иностранных имен для «Преподавателя симметрии», перевода с воображаемого иностранного, перешитых из имен родственников и друзей. Имена показались мне естественнее и необычней, чем тот стандарт, что приходил мне на мой русский ум. Занятие было достаточно изысканно марзаматическое, чтобы оправданно отвлекаться от невыносимости творческого процесса. Еще лет через тридцать, уже с возрастом, в метро и больницах, возможно, борясь со склерозом, я стал играть в слова в уме, без бумажки, образуя нечто из названий станций и медицинских кабинетов.

И когда в поезде у меня из Красной стрелы получилось: страна—трасса—стакан—расстрел, — я понял, что это достаточно точное описание страны и эпохи (ложечка так же позвякивала в стакане, как и в тридцатые). Дальнейшие упражнения привели меня к выводу, что мир сложного слова до какой-то степени описывается словами, из него образованными.

Если это и не каббалистика, то метафизика звука, потому что почему стол или стул означают стол и стул, осталось незаконченным в начальном образовании.

И вот, лежа на больничной койке и полагая свой путь вполне законченным, я прошел по этому принципу курс русской литературы, от Золотого века до Серебряного. Пусть, кому не лень, обвинит меня в натяжках... я же был потрясен: чем мощнее судьба, тем отчетливей и неповторимей кличевое (хорошая опечатка!) ключевое слово. Конечно, имена, даваемые при крещении... но и фамилия, доставшаяся в наследство! Но чтобы имя, помноженное на фамилию, описывало как характер творчества, так и судьбу! Нет, это было уже слишком... Однако черт, предтеча

пунш, душа, пушинка  
книга, глагол,  
храм, молитва  
тело, слово, ствол  
треск, восток, фрейдист  
нота, вежа  
блеск, раскол, блокада

Что же это? Прикиньте сами, чьи это имена... Ни одно из этих слов не образуется из другого имени. И все это имена лишь самого первого ряда. Конечно, само имя Александр порождает драку и скандал, поэтому не стану вписывать его в судьбу, осу-

шественную в фамилии. Слова фрейдист и блокада продлили исторический возраст носителей; один превзошел Фрейда, другой мог дожить до блокады. В этот ряд не поместились даже такие великие писатели, как Тютчев, Гончаров, Островский, Лесков, Бунин. Из Ивана Тургенева получилось обидное и несправедливое слово *винегрет*. Выходит, не творчество, а судьба задействует слово до последней буквы! Поиграли?.. И вот что у вас получилось: Петр Чаадаев — Александр Пушкин, Николай Гоголь — Михаил Лермонтов, Лев Толстой — Федор Достоевский, Антон Чехов — Александр Блок.

Ни одного псевдонима!

Из гигантов советской эпохи у меня стало получаться хуже. Максим Горький и Владимир Маяковский не дали мне существенного существительного (при всем моем неироническом их признании), но в них обоих, что характерно, содержится сочетание макро-микро, а во Владимире Маяковском звучит единственно трагический вопль. МАМА.

Конечно, нашлись судьбы и потрагичней и посущественней, поединственней.

Так Осип Мандельштам возвращает нам понятия письмо и писатель. Марина Цветаева — матрица.

На современников лучше не переходить... Впрочем, из Александра Солженицына получится много значимых, особенно глагольных существительных, таких, как сложение (свидетельство его математического образования), а также целое — единица — солнце (нет, недаром он настоял на своей труднопроизносимой фамилии, отказавшись от изначального псевдонима! Обрусел бы до той же славы у нас Хэмингуэй, если бы из него не получалось кратчайшее заборное слово).



Из Венедикта Ерофеева у меня получился фейерверк. На йоту не хватило. С живыми современниками вообще сложнее: они все под защитой ангела.

Так Фазиля Искандера защищает скафандр; Людмилу Петрушевскую — парашют, а Беллу Ахмадулину — балдахин.

*2003–2007*



Андрей Битов

## ТЕКСТ КАК ТЕКСТ

*Редактор* Анна Бердичевская  
*Корректор* Варвара Бекетова  
*Дизайн и верстка* Наталья Половникова

*Директор издательства* Р. Зарипова  
*PR-директор* Е. Острикова

Подписано в печать 25.04.2010. Формат 60х70/16.  
Бумага офсетная. Гарнитура Newton.  
Печать офсетная. Усл.п.л. 13,25. Тираж 3000 экз.

Издательство ArsisBooks. 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1В  
тел.: +7(495) 785 2498, факс: +7(495) 785 2549, e-mail: arsis@inbox.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в типографии «Галлея-Принт»

Адрес: 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б

...Все предположительно о Руставели, кроме самого Руставели.  
Музей Руставели — под открытым небом, в нем нет экспонатов,  
кроме его строк.

...Как всякий император, Набоков что-то присвоил себе: бабочку,  
нимфетку, невестречи, случай, совпадение, опоздание, ошибку...  
Поэт невестречи, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку  
которой мы видим мир почему-то отчетливой, а не туманной.

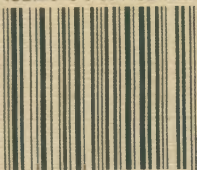
... У Мандельштама граница поэзии и прозы не наблюдается,  
как у русалки переход в хвост, как у кентавра переход в лошадь...

...Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг  
не отмечается одна и бесспорная: природоохранная. Сколько  
истории, сколько памятников культуры сохранили они нам  
одним своим именем... Но и — сколько пейзажей!

«Превращение жизни в текст (воображение) подобно возвращению  
текста в жизнь (память). Память и воображение, таким образом,  
могут оказаться в той же нерасторжимой, взаимоисключающей связи,  
как жизнь и смерть».

*Из книги А. Битова «Текст как текст»*

ISBN 9 78-5-904155-16-2



9 785904 155162